

Бенджамин Вуд

Эклиптика

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69014551

Эклиптика: Фантом Пресс; М.; 2022
ISBN 978-5-86471-919-0

Аннотация

На живописном острове неподалеку от Стамбула среди сосен и гранатовых деревьев спряталось тайное прибежище для художников всех мастей: живописцев, архитекторов, писателей, музыкантов. Сюда приезжают за утраченным вдохновением, тишиной и покоем. Шотландская художница Элспет Конрой, известная на острове как Нелл, покинула арт-сцену Лондона шестидесятых, потеряв веру в себя. В прибежище она живет уже много лет, ночами напролет экспериментируя с пигментами в поисках идеальной краски для своего будущего шедевра. Привычный уклад жизни на острове нарушает появление нового постояльца – семнадцатилетнего Фуллертона. Нелл подозревает, что мальчику угрожает опасность, и хочет ему помочь, но для этого надо выяснить, чем вызваны его ночные кошмары, почему он сбежал из Англии и над чем работает у себя в мастерской. Тонкий, увлекательный, совершенно непредсказуемый роман о природе творчества, о призраках, которые преследуют нас, о том, что все самое прекрасное и ужасное мы носим с собой.

Содержание

Первая из четырех. Уклад	5
1	5
2	23
3	48
4	66
5	97
6	124
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Бенджамин Вуд

Эклиптика

Посвящается Стеф

История повторяется, но особый зов погибшего искусства уже не воспроизвести. Он исчезает из мира так же бесповоротно, как песня истребленной дикой птицы.

Джозеф Конрад “Ностромо”

The Ecliptic by Benjamin Wood

Copyright © Benjamin Wood 2015

© Светлана Арестова, перевод, 2022

© Андрей Бондаренко, оформление, 2022

© “Фантом Пресс”, издание, 2022



phantom press

Первая из четырех. Уклад

1

Когда он приехал в Портмантл, ему было лишь семнадцать, – беглец, как и все мы, только было в этом мальчике нечто тревожное, чего прежде мы не видели ни в ком из новичков. Тайная мука сковала его скулы, будто в столь юном возрасте ему уже открылись все разочарования мира, законсервировав выражение его лица. Мы знали его как Фуллертона – обычная фамилия, простая, но не из тех, что тонут в глубинах памяти, не оставляя по себе ряби.

Одно ожидание его приезда нарушило привычный уклад и сбilo нас с курса – так, если преждевременно натянуть леер, воздушного змея сметет порывом ветра. Редко когда следили мы с таким вниманием за воротами нашего прибежища или за кем-то из постояльцев. Но его представили нам как особый случай, родственную душу, которая стóбит нашего времени и интереса. И мы откликнулись.

Нас с самого начала завербовали ему в помощники: Кукмена, Маккинни, Петтифера и меня. Сам директор назначил нам встречу у себя в кабинете, где за стаканчиком гранатового сока объявил, что вскоре Портмантл примет самого юного постояльца в своей истории и что для него, директора,

наша поддержка была бы неоценима.

– Поверьте, мне вовсе не хочется обременять вас такой ответственностью, – сказал он. – Но кто-то должен помочь ему освоиться, а Эндеру в одиночку не справиться, с его-то английским. Я хочу, чтобы вы вчетвером приглядели за мальчиком, пока меня не будет. Вспомните, каково это – быть одаренным в его возрасте и как нужен порой рядом отзывчивый человек.

По правде говоря, отзывчивость наша была куплена намеком на вознаграждение; в обмен на доброе дело – деликатесы с материка: листовой “Эрл Грей”, копченый бекон, овсянка; самые банальные продукты были для нас предметами роскоши, и мы не устояли.

Многое директор оставил без объяснения, многое нам знать не полагалось. Проблемы Фуллертон не подлежали огласке, как и наши собственные. Его личные качества не ставились под сомнение. Причины, по которым он приехал, не обсуждались. Мы просили лишь об одном: хотя бы намекнуть, чем он известен, но добиваться от директора ответов все равно что делать сидр из герани. “Через пару дней сами у него спросите. Я бы не хотел, чтобы к нему относились предвзято еще до его приезда”.

Как заключенные ждут писем, так и мы ждали его прибытия с материка два скучных дня, проклиная его за упущенные рабочие часы. “Если этот мелкий засранец когда-нибудь явится, – сказал Петтифер, – он у меня отработает каждую

минуту, что я на него потратил. Для начала отполирует до блеска мои сапоги. Чтоб я мог смотреться в них и видеть, что у меня в носу”.

Это – после того, как мы все субботнее утро помогали завхозу с приготовлениями. Пока Эндер и его подчиненные приводили в порядок отведенное мальчику жилье, мы расчищали занесенные снегом дорожки вокруг особняка, по очереди орудуя лопатой, вот только ночью налетел новый вихрь мохнатых снежинок, и к воскресному обеду о наших трудах напоминали лишь едва заметные борозды. Нашей самоотверженности не хватило на то, чтобы расчищать дорожки дважды, а потому к приезду Фуллертона снег лежал толстым нетронутым слоем.

Спотыкаясь, он взбирался по склону – за спиной холщовый мешок, капюшон ветровки обтягивает голову. Маккинни увидела его в окно столовой – “Опа, а вот и возмутитель спокойствия”, – и, выскочив из-за стола, мы столпились на лестничной площадке, чтобы получше его разглядеть.

Мальчик проталкивался меж засыпанных снегом сосен с таким упорством, что было очевидно: он нуждается в прибежище Портмантла не меньше, чем мы. С первого взгляда мы признали в нем одного из нас. Он обладал торопливой поступью беженца, мрачной поспешностью бойца, за спиной которого разорвалась граната. Мы сразу узнали преследовавших его призраков – таких же призраков мы привели сюда сами и все никак не могли изгнать.

– Парень даже не остановился перевести дух. Впечатляет, – сказал Куикмен, впервые за день удосужившись вытащить трубку изо рта.

Табак у него кончился давным-давно, и чаша трубки была сухая, но ему доставляло удовольствие грызть мундштук – вкус еще чувствуется, настаивал он, и заменяет ему табачный дым. (Он до сих пор носил в кармане пустой пакетик из-под табака “Голден Харвест”, который любил доставать и разглядывать, словно надеясь, что содержимое восполнится по волшебству.)

Маккинни взглянула на мальчика поверх очков.

– Нет, ну кто зимой выходит в такой куртке? – возмущалась она. Пригнувшись, грея руки под мышками, мальчик все еще пытался одолеть склон. – Почему так трудно заставить мужчину надеть нормальное пальто? В том, чтобы замерзнуть насмерть, нет ничего героического.

Из нашей четверки она была самой заботливой – порядком старше остальных и единственная, у кого во внешнем мире были дети. Ее материнские чувства чаще всего пробуждались за обедом – не в силах им противиться, она склоняла голову набок и сообщала нам, как мы исхудали и осунулись. С таким же видом она теперь следила за мальчиком.

Петтифер фыркнул – его фирменный смешок.

– Ни шапки, ни шарфа, ни перчаток. Это не героизм, а просто какая-то глупость.

Мальчик пробирался сквозь оледеневший средиземно-

морский кустарник к заснеженной поляне у высокой ограды. Подойдя к воротам, он повалился вперед, схватился за прутья и прижался лбом к металлу, словно в мольбе.

– Посмотрите на него, едва стоит на ногах в этих своих нелепых шлепанцах.

На этой фразе мальчик согнулся пополам и его вырвало. Желтая жижица растекалась у его ног.

– Божечки. А вот и завтрак.

– Ничего смешного, – сказала я. – Он просто вымотался.

От пристани идти целую милю, и все в гору – изнурительная прогулка даже в хорошую погоду. А у мальчика и нормальной обуви-то не было. Неудивительно, что ему стало плохо.

Петтифер ухмыльнулся.

– Откуда тебе знать, может, он съел что-нибудь на материке. Эту их уличную еду, например. Порубленную требуху, которую так обожают турки. Как, бишь, она называется? – спросил он у Куикмена.

– Кокореч, – ответил тот. – Бараньи кишки.

– Вот-вот. Все очень вкусно, пока не окажется у тебя в желудке, и тогда... – Он надул щеки, выдохнул и изобразил рукой извергающийся поток.

– Кто-то должен был его предупредить, – сказала я, не обращая на Петтифера внимания.

– О чем?

– О снеге. Чтобы взял с собой теплых вещей.

– Никто не предупредил меня о кокорече, – сказал Петтифер. – И ничего, выжил. Он подросток, а не восьмилетка.

Маккинни протерла ладонью запотевшее стекло.

– Тиф прав. Будешь говорить людям, что класть в чемодан, и они начнут приезжать с камердинерами.

– А уж женщины... – Петтифер подмигнул мне. – Нельзя, чтобы они набирали с собой вечерних туалетов.

Такие провокации были издержками общения с Тифом. Он флиртовал на автопилоте, а поскольку выбор в Портмантле был невелик, знаки его внимания – в форме детсадовских подколок – обычно доставались мне. А то, что я не испытывала к нему никакого влечения и регулярно это подчеркивала, лишь придавало ему уверенности в своих силах – типично мужское поведение, по моему опыту. Женоненавистником он был не в большей степени, чем фашистом, и все же любил иногда поразвлечься за мой счет.

Маккинни прильнула к стеклу.

– Небольшие сугробы не остановят того, кому по-настоящему нужно сюда попасть. Будь то мужчина или женщина. И вообще, смотрите: ему уже лучше. Не жалуется.

– Да у него просто в желудке ничего не осталось, – сказал Петтифер. – Все внутренности вон на снегу.

За это ему досталось от меня ботинком по голени.

– Хватит уже упиваться. Когда ты сам в последний раз куда-нибудь взбирался?

– Я в его возрасте кроссы бегал. – Он похлопал себя по

брюху. – А теперь вот по утрам не могу с толчка встать.

– Матерь божья, – сказал Куикмен. – Ну и картина.

– Всегда пожалуйста.

С трудом верится, что когда-то Петтифер и Куикмен были для меня чужими. Они прибыли в Портмантл с разницей в один сезон, но сдружились почти сразу – обсуждая за ужином погоду (могли ли два англичанина избрать тему лучше?). Позже, когда мы с Маккинни играли в нарды в тенистом конце веранды, они устроились неподалеку со стаканчиками турецкого чая и принялись шепотом критиковать нашу игру. “Так и будете весь день по углам ныкаться и хихикать? – спросила она. – Может, тогда покажете нам, как это делается? У нас тут не то чтобы смертельная схватка”. Они извинились и подсели к нам. “Вас никто не учил, – начал Куикмен, – что к любым играм надо подходить серьезно? Мой отец твердил это без конца. (Заподозрив, что он над нами подтрунивает, я насупилась.) И все же, когда у тебя на глазах взрослый мужчина подворачивает ногу, играя в “музыкальные стулья”, начинаешь сомневаться в мудрости этого совета”. Мак рассмеялась своим громким, искренним смехом – и так началась наша дружба. И неважно, что мы сбежали из Британии за тысячи миль, чтобы ничто из прежней жизни не отвлекало нас от работы, – это не помешало нам стать не разлей вода.

– Кто-нибудь видел Эндера? Надо открыть ворота.

Я заглянула в пустеющую столовую, где в очереди за рагу

из луфаря¹ был в последний раз замечен завхоз. Некоторые постояльцы все еще обедали – вместе, но и врозь, за длинным общим столом. Мы не потрудились запомнить их фамилии, зато были наслышаны об их проектах и уже записали их в краткосрочники – “проходные”, как говорил Петтифер, что на его языке значило “таланты пожиже”.

О ценности чужих творений мы судили по сроку пребывания в Портмантле: если вы уезжали спустя всего один сезон, значит, ваш замысел попросту не выдерживал более длительного вызревания. Взять хотя бы испанского поэта, с которым мы беседовали за обедом, гордо заявившего, что трудится над сборником минималистских стихов, избавленных от линейности, повествовательности и смысла. “Важное дело, – заметил Куикмен, поворачиваясь к нам и закатывая глаза. – Если что-то и нужно искоренить из поэзии, так это смысл”. Испанец закивал, глухой к сарказму, и принялся объяснять, как невысказанно сложен его проект, и, надо отдать Куикмену должное, его напускной интерес не ослабевал до самого конца.

Мы дали этому поэту самое большее два сезона. Любой, кто при первой же возможности заговаривал о своем проекте, обычно оказывался краткосрочником – таково было наше мнение. Любой, кто провозглашал себя гением, был мошенником, потому что гению, как выразился однажды Куик-

¹ Луфарь – морская рыба из отряда окунеобразных. – *Здесь и далее примеч. перев.*

мен, некогда любоваться на себя в зеркало – у него слишком много работы. Мы не искали дружбы с краткосрочниками. Пусть трудятся и обретают ясность без нашего участия, а мы и дальше будем штурмовать свои неприступные творения. Никто из нас не желал признать, что, отделившись от остальных, мы сами провозгласили себя гениями, из чего, конечно, следовало, что самые большие мошенники тут мы. Нам даже не приходило в голову, что главное дарование Портмантла стоит у ворот в лужице собственной блевотины.

– Можешь не искать старика, – сказал Куикмен, глядя в окно. – Наш парень сейчас нажмет на кнопку.

Как по команде, по первому этажу прокатились три длинные, дребезжащие трели. Куикмен сунул трубку обратно в уголок рта.

– По местам, – скомандовал он, в голосе – предвкушение. Звонок раздался вновь.

Эндер, старый завхоз, вышел из столовой с заткнутой за воротник салфеткой. На ней были бледные пятна от рагу. В руке он сжимал ложку.

– Это он? Он звонит?

– Ага, – сказал Петтифер. – Уже, наверное, переохлаждение заработал. Вы бы поторопились.

– Окей. Иду. Вы оставайтесь здесь. – Сорвав салфетку с воротника и тщательно промокнув усы, Эндер спрятал ложку в нагрудный карман и поспешил вниз. – Вы ждете в библиотеке, да? – крикнул он, надевая куртку у подножия лестницы.

цы. – Я его привожу.

Из окна мы смотрели, как старик пересекает белую целину, оставляя в сугробах провалы следов. По традиции, у него с собой был директорский дробовик – незаряженный, на ремне свисавший с левой руки. На Эндере была его обычная куртка, отороченная светло- и темно-серым мехом – в тон его седине. Дойдя до ворот, он заговорил с мальчиком через железные прутья.

Каждый новоприбывший должен был назвать пароль, который директор менял раз в сезон, обычно это была поэтическая строчка или цитата из его любимого произведения. У нас с Маккинни пароль был одинаковый: “Пойдем на восток, в родные края, одни, помня тебя”². У Петтифера – “Мы – как ныряльщики в чистейших водах. / Нам лишь бы одряхлевший мир скорей / Покинуть”³. Куикмену достался перевод из Хюсейна Рахми Гюрпынара⁴ – турецкого писателя, чьи сочинения были академическим фетишем директора, – впрочем, Куикмен утверждал, что дословно цитату не запомнил. Бедному Эндеру приходилось учить эти пароли каждый сезон, на английский остальных работников можно было не рассчитывать. В голове у Эндера, вероятно, понаме-

² Из стихотворения английского поэта Руперта Брука (1887–1915) “День, который я любил”.

³ Из сонета Руперта Брука “Мир”. Пер. А. Серебренникова.

⁴ Хюсейн Рахми Гюрпынар (1864–1944) – классик турецкой литературы, долгое время живший на острове Хейбелиада и похороненный на местном кладбище.

шалось столько обрывков стихов, что он дал бы фору даже нашему испанцу. Впрочем, за годы службы у него ни разу не возникло необходимости стрелять. Уж слишком хорошо работала система. Любой, кто звонит в ворота Портмантла, должен знать правила входа. В противном случае его заставят повернуть обратно под дулом дробовика.

Фуллerton беззвучно произнес пароль, и старик его впустил. Мальчик ступил на территорию усадьбы и, прищурившись, посмотрел в окно над верандой, где стояли мы. Если он и увидел нас, то не подал виду. Он терпеливо ждал, пока Эндер запрет ворота, после чего они гуськом стали пробираться к главному входу.

У крыльца Фуллerton потопал ногами, отряхивая снег, и перекинул мешок на другое плечо. Затем оглянулся туда, откуда пришел, словно ворота были чертой между настоящим и прошлым и ему требовалось несколько мгновений, чтобы прочувствовать всю важность происходящего. Мы наблюдали эту странность и у других. Когда-то, так давно, что уже и не вспомнить, каково это было, мы тоже оборачивались у крыльца.

– Пора двигаться, – сказала Маккинни.

Пройдя по коридору, мы вошли в темную библиотеку, где пахло классной комнатой и теснилась до нелепости разномастная мебель. Я раздернула портьеры и включила настольные лампы. Петтифер и Куикмен, опустившись на корточки у камина, обсуждали, не развести ли огонь.

– Как долго от нас требуется изображать радушных хозяев? – поинтересовался Петтифер. – У моих изысканных манер короткий срок годности.

– Давайте уже разжигайте, – сказала Маккинни. – Ему надо согреться.

– По-моему, – вздохнул Петтифер, потянувшись за поленьями, – в последнее время люди как-то слишком часто пользуются плодами моих трудов.

Куикмен пихнул его в бок:

– А нельзя ли попользоваться плодами твоего молчания?

– Ты у меня за это поплатишься.

Куикмен рассмеялся.

– На, подкинь бумагу.

– Ее надо смять, чтобы лучше горела.

Пока они возились у камина, в комнату прошаркал Эндер. Мальчик маячил на пороге, дрожа всем телом. Он кутался в оранжевый плед стандартного образца: из кусачей шерсти с вышитой буквой “П”. Эндер кашлянул.

– Извините, наш гость замерз и устал, так что сегодня не надо много разговоров. Привет-привет и уходим, окей? – Старик сделал шаг в сторону и представил нам мальчика жестом иллюзиониста, завершившего эффектный фокус. – Фуллертон, эти люди заботятся о вас, на сегодня, пока не приехал директор. – Непривычное имя в его исполнении прозвучало как “Фулиртин”. – Они старые, но разговаривать с ними не так уж плохо. Они могут вам понравиться.

– Батюшки, Эндер! – Петтифер поднялся с колен и отряхнул сажу с брюк. – Ну зачем так завышать его ожидания?

Мальчик поднял голову и с трудом прошептал: “Здравствуйте”. Его так трясло, что плед колыхался, точно парус во время шторма. Вблизи, с опущенным капюшоном, можно было как следует разглядеть его лицо. Карие глаза, маленькие, впалые, близко посаженные, акцентировали стройную колонну носа, опрокинутую мягкими волютами вниз. У него была привычка держать рот приоткрытым – мой отец называл это “ленивая челюсть”, – а кончик языка чуть высывался, придавая губам влажный блеск. Темные волосы легко ложились на пробор, как страницы Библии, раскрытой посередине, челка, по подростковой моде, шторками обрамляла лоб, прикрывая родимое пятно слева. Пожалуй, он был ниже большинства сверстников, но благодаря широким, покатым плечам подносчика кирпичей выглядел взрослее.

Я первая с ним заговорила. Остальные чуть поодаль застыли в нерешительности. Мы почти разучились общаться с посторонними.

– Ну и прогулочка, да? У тебя, наверное, ноги отваливаются. Ты садись. – Почему-то, вместо того чтобы протянуть ему руку, я вскинула ладонь, как вождь Сидящий Бык. – Я Нелл. С двумя “л”. Приятно познакомиться.

Все еще дрожа, он кивнул.

– Устраивайся у огня. Вон как он разгорелся. Мигом согреешься.

Мальчик подошел к камину. Скинул плед, широко расставил руки и ухватился за каминную полку, впитывая тепло. Сзади казалось, будто он поддерживает стену.

– Два джентльмена справа – это Петтифер и Куикмен. (Они помахали, но мальчик стоял к ним спиной и, похоже, меня не слушал.) А вон там, у окна, Маккинни. Мы с ней живем здесь уже... Ой, даже говорить стыдно.

– Не так давно, как я, – вставил Эндер с порога. – Я уже с белыми волосами.

Он пригладил усы и довольно каркнул.

Мальчик не двинулся с места.

– Пожалуйста, – пробормотал он так тихо, что его голос едва был слышен за потрескиванием огня, – дайте мне минутку... – Он схватился за живот, и мы на всякий случай отпрянули. Сделав глубокий вдох, он продолжил: – Просто чтобы оттаять. Я все еще пальцев ног не чувствую. – Он повернулся спиной к огню, сияющий силуэт. Зажмурившись, он втягивал воздух носом и выдыхал ртом, губы в трубочку. – Вы рассказывайте... Мне просто нужно... немного отойти...

– Конечно, – сказала я и, присев на диван, переглянулась с Маккинни. Мы обе пожали плечами. – Директор попросил нас тебя встретить. Он подумал, раз мы все тут знаем и говорим с тобой на одном языке, с нами ты быстрее освоишься. Приятно, когда есть с кем поболтать. Он сам хотел ввести тебя в курс дела, но...

Фуллертон по-прежнему глубоко дышал. Понял ли он хоть слово?

– Ему пришлось ненадолго покинуть остров, – продолжала я. – Наверное, приводит в порядок твои бумаги на случай, если ты захочешь тут задержаться. Так что, боюсь, мы всего лишь замена. Но не волнуйся: с тобой обращаются как с любимым другим.

Тут подал голос Петтифер:

– Вообще-то раньше мы вот так вот не расстилали красную дорожку. *Ни для кого*. – Он прочистил горло, будто ожидая, что намек, крившийся в этом звуке, побудит мальчика заговорить. Но тот ничего не ответил, и Петтифер оскорбленно скрестил руки на груди. – Вот теперь я ощущаю всю прелесть филантропии.

– Оставь его, – сказала Маккинни. – Он только приехал, а мы его уже обступили.

– Да нет... – выдавил мальчик. – Говорю же, я просто замерз. – Он открыл глаза и обвел нас взглядом. – И я ценю ваше дружелюбие, честно. Но я сюда не за друзьями приехал. Я просто хочу переодеться и отдохнуть, и как-нибудь потом мы можем вместе поужинать. Такие ведь тут порядки? Мне сказали, меня оставят в покое.

Куикмен закурил трубку и ухмыльнулся.

– По сути, да. Ужин начинается после звонка. Едим в столовой, таковы правила. Хочешь, мы зайдем тебе место. – Он взглянул на мальчика, прищурив глаза, – слушает ли тот

его. – Конечно, есть и другие правила, но самые важные тебе, наверное, уже объяснили. А остальное узнаешь по ходу дела. Или у директора спросишь. Когда он, кстати, вернется?

– Через три дня, – ответил Эндер.

– Ну вот.

Фуллerton растерянно заморгал. Заправил волосы за уши.

– Ладно, пусть Эндер проводит его в домик, – сказала я.

И, взглянув на мальчика, добавила: – Нас попросили рассказать тебе, как тут все устроено, ответить на вопросы и тому подобное. Но, если хочешь, мы предоставим тебя самому себе. Если что-нибудь понадобится, мы будем поблизости.

– Нас легко найти, – сказала Маккинни. – Мы всегда где-нибудь есть.

– Хорошо, спасибо, – сказал мальчик. Он подобрал с пола плед и принялся изучать полки над камином. – А эти книги можно брать?

– Некоторые можно, – ответил Петтифер. – А вот до “Леди Чаттерлей” тебе надо еще дорасти. – Он покосился на нас, но его шутку никто не оценил.

– Странно, что-то я ее здесь не вижу. – Мальчик невозмутимо скользнул взглядом по книжным корешкам. – Принесете, когда страницы подсохнут?

Петтифер вспыхнул:

– Фу, какая гадость!

– Так, ладно, – вмешался Куикмен, – пора за работу. – Похлопав Петтифера по плечу, он направился к двери. – От-

ложим это на потом.

Я встала и с улыбкой обратилась к мальчику:

– Приятно видеть юные лица.

Он лишь кивнул.

Петтифер махнул рукой в сторону камина:

– Пусть догорит. Или можешь подкинуть дров, они на первом этаже. Сам решай.

– Ага, спасибо.

Уходить нам не хотелось. Не только из-за того, что мы нарушили данное директору слово, но и потому, что все в мальчике сбивало с толку. Мы не привыкли жить с угрюмыми подростками. У него была очень современная манера держаться, которую мы никак не могли расшифровать. Он был неудобным в самом захватывающем смысле слова – как знакомая комната, изменившаяся после перестановки мебели. Он оживил нас, вытряхнул из привычного уклада, причем без малейшего труда. Конечно, мы не могли предвидеть, как сильно он повлияет на следующий этап нашей жизни. В эту первую встречу, сам того не желая, он как будто ослабил наши болты, а медленное течение дней довершило его работу.

Мы двинулись к выходу, но на пороге Куикмен обернулся, положив руку на дверной косяк:

– Слушай, Фуллертон, у тебя случайно табака не найдется? Мне для трубки, но могу и сигарету распотрошить.

Взгляд мальчика наконец-то потеплел. Рот его был открыт, кончик языка прошмыгнул по зубам. Он достал из

кармана джинсов смятую пачку сигарет, какая-то турецкая марка, и кинул ее Куикмену.

– А я вас узнал, – сказал он. – Мне так кажется.

– Ну, не обессудьте, – вежливо ответил Куикмен и прижал сигареты к груди. – Спасибо. – Он потряс пачку, но шороха не последовало. Вынув фольгу, он сжал коробочку в кулаке. – Не буду врать: мой дух сломлен.

И мальчик наконец улыбнулся.

2

Хейбелиада, как нам сказали, находится в двенадцати милях от Стамбула и входит в группу островов, именуемых Истанбул адалары, уступая по величине лишь соседней Бююкаде. На севере и юге ее венчают два холма с крутыми лесистыми склонами, а в ложбинке между ними расположился поселок, где живет все население острова. Работа там по большей части сезонная. Зимой приземистые дома на несколько квартир и долговязые деревянные особняки стоят пустые и темные, но с приходом тепла их заполняют стамбульские дачники, которые приезжают, чтобы сидеть на узорчатых балконах, загорать на скалистых пляжах, качаться, словно чайки, на сияющих волнах Мраморного моря и весело выпивать до глубокой ночи на крышах своих домов. Если смотреть с моря, Хейбелиада – что означает “остров-выюк” – вполне оправдывает свое название, но с более высокой точки обзора она скорее напоминает тазовую кость. На отростке этой кости, на густо поросшем соснами юго-восточном мысе, и находится Портмантл. Единственная часть особняка, различимая с парома, – это верхушка двускатной кровли, да и та замаскирована мхом и толстым слоем копоти. Все гости проделывают один и тот же путь от пристани. Без подробных инструкций прибежище не найти. Сойдя с парома, вы не уви-

дите указателей. В кафе и *lokantas*⁵ на набережной вам не помогут. Запряженные лошадьми фаэтоны вас туда не отвезут. Усадьба стоит на отшибе, и местные туда не ходят, полагая, что там обитает профессор-затворник, яростно оберегающий свое уединение. Как и другие частные виллы, Портмантл никому на острове не интересен, а потому идеально подходит для тех, кто хочет укрыться от чужих глаз.

Единственный путь к прибежищу пролегает через восточную часть острова, по улице Чам-лиманы-ёлу. Проселочная дорога обрывается у кованой ограды с пиками, оцепляющей усадьбу. Маккинни утверждала, что пробраться на территорию можно и другим путем – переплыв бухту с запада на восток и взобравшись на мыс по скалистому склону, – но на практике ее теорию никто не проверял. Фальшивые таблички, развешанные вдоль забора, действовали безотказно: *Dikkat köpek var* – “Осторожно, злая собака”.

Мы не знали, как давно существует Портмантл, знали только, что многие искали здесь приюта задолго до того, как мы заявили на него свои права; для того он и был построен – спасти разочаровавшихся в себе художников вроде нас. Уединенность усадьбы позволяла творить вне смирительной рубашки мира, не испытывая его давления. Здесь мы могли заглушить голоса, что зудели и нудили в сознании, забыть о душащих сомнениях, отбросить обыденные хлопоты, помехи и обязанности, отстраниться от inferнальных зву-

⁵ Рестораны (*тур.*).

ков цеховой жизни: телефонных звонков, поторапливающих писем в фирменных конвертах от галерей, издателей, студий, меценатов – и работать, наконец-то работать, без чужого вмешательства и влияния. “Свобода творчества”, “самобытность”, “подлинное самовыражение” – эти слова повторялись в Портмантле, как заповеди, пусть даже они редко претворялись в жизнь, а то и вовсе были призрачными идеалами. В Портмантле просто восстанавливали силы. Своего рода санаторий, куда приезжали не за телесным оздоровлением, но чтобы обрести утраченное вдохновение, упущенную веру в само искусство. Ясность – так мы это называли; единственное, без чего мы не могли жить.

В Портмантле не принято было упоминать о времени, разве что в самых общих чертах: течение дней, смена времен года, положение солнца над лесом. И Эндер, и директор по долгу службы носили карманные часы, но в самом доме часов не было, не приветствовались и календари. Не то чтобы нам *запрещалось* ими пользоваться – с некоторыми оговорками мы были вольны делать все, что захотим. Любой мог протащить на остров наручные часы или начертить на земле циферблат разметочным шнуром и определять время по солнцу, но ему бы тут же указали, что он только сам себе вредит. Почему наши мысли должны вращаться по часовой стрелке? Почему мы должны жить по законам мира, которому больше не подвластны? Искусство нельзя втиснуть в расписание. Мы пользовались расплывчатыми формулировка-

ми: “завтра утром”, “в прошлую среду”, “три-четыре сезона назад” – и они неплохо нам служили, помогая забыть о том, что часы и минуты, по сути, ведут обратный отсчет.

Потому-то я и не могу сказать точно, сколько прожила в Портмантле до прибытия Фуллертона. Приехала я в 1962-м, но с тех пор на моих глазах столько зим сковало холодом здешние сосны, что все слилось в одну серую зиму, необъятную и туманную, как море. Дневник я забросила быстро, и вычислить сроки моего пребывания по записям было невозможно. По приблизительным подсчетам, мы с Маккинни провели в Портмантле не меньше десяти лет, а Куикмен и Петтифер – почти восемь.

Жили мы под вымышленными именами, потому что настоящие тянули нас назад; кроме того, одни репутации были весомее других, а Портмантл задумывался как место, где все равны. Также считалось, что прежние имена культивируют самонадеянность и не дают вырваться за рамки знакомых методов, привычного типа мышления. Директор давал нам псевдонимы – фамилии из телефонных справочников и списков пассажиров со старых кораблей (эти списки он привозил из странствий и хранил в папках у себя в кабинете). Имена выбирались без оглядки на расу и национальность, в результате Маккинни, дочка русских эмигрантов, оказалась отмечена печатью кельтскости, и в разные годы в усадьбе попадались такие несуразности, как арабский художник Дюбуа, итальянский романист Хоуэллс, славянский

иллюстратор Сингх и норвежский архитектор, отзывавшийся на О'Мэлли. В каком-то смысле фальшивые имена были нам дороже настоящих. Со временем начинало казаться, что они и подходят нам больше.

По документам я – Элспет Конрой, родившаяся 17 марта 1937 года в шотландском городе Клайдбанке. Фамилия моя всегда казалась мне невзрачной, а имя – чересчур формальным и девичьим. Элспет Конрой – так могли звать дебютантку из высшего света или жену политика, но никак не серьезного художника, которому есть что сказать о мире, но такова была моя участь, и мне пришлось ее принять. Родители надеялись, что аристократическое шотландское имя Элспет поможет мне выйти замуж за человека более высокого статуса (иными словами, за *богача*), и с годами я эту теорию опровергла. Но я всегда подозревала, что этот ярлык – Элспет Конрой – мешает моему творчеству. Какое мнение складывалось обо мне у посетителей выставок, видевших его на подписях под работами? Могли ли они, узнав мой пол, национальность, социальное происхождение, прочувствовать всю правду моих полотен? Кто знает. С этим ярлыком я создала себе репутацию, им меня характеризовали и классифицировали. Я – шотландская художница и именно как шотландская художница вошла в историю искусства. Однажды, когда я буду готова уехать отсюда, я снова стану Элспет Конрой, сниму ее с крючка, как старую загрубевшую куртку, и примерю – подходит ли? А до тех пор мне позволено быть дру-

гим человеком. Нелл. Старая добрая *Нелл*. Другая, но такая же. Без нее я никто.

Из нашей четверки больше всех дорожил возможностью отстраниться от прошлого Куикмен. В первую пору нашего знакомства стоило нам взглянуть на него, и в памяти неизбежно всплывала знаменитая фотография с задней обложки его романов: голова подсолнечником клонится в сторону, руки с вызовом скрещены на груди, за плечами – угрюмая лондонская панорама. Он с детства был у нас перед глазами, молодое, эффектное лицо щурилось с книжной полки, выглядывало из-под кружки на прикроватном столике. Его настоящее имя знали почти в каждом доме; в литературных же кругах оно было синонимом величия, мелькало как нарицательное в рецензиях на опусы менее важных писателей. Любому в Портмантле – даже директору – доводилось читать или хотя бы держать в руках его дебютный роман “Накануне дождя”, опубликованный, когда ему был всего двадцать один год. В Британии книга входит в школьную программу, считается современной классикой. Но наш добряк Куикмен не слишком вязался с этой личностью: скромный, часто раздражительный, он не любил шик и блеск литературной сцены. Он жаждал только одного – запереться в тихой комнате с блокнотом в линейку и набитой карандашами “Штедтлер” коробкой из-под сигар. Фамилия “Куикмен” подходила ему идеально. Его ум работал невероятно быстро. А борода, поскольку он за собой не особо ухаживал, разрасталась по

щекам, точно дрок, скрывая красивое симметричное лицо и придавая ему вид моряка, выброшенного на необитаемый остров.

Настоящая фамилия Петтифера тоже была небезызвестна во внешнем мире. Архитекторы редко предстают перед публикой, и, если честно, при первой встрече я не узнала его пухлое лицо. Когда (в минуты жалости к себе) он рассказывал о спроектированных им зданиях, их очертания ностальгически всплывали в памяти, как любимое кресло или бутылка отменного вина. Его прежняя фамилия звучала на званых ужинах и светских приемах; услышав ее, люди кивали и говорили: “Ах да, мне всегда нравилось это здание. Его работа?” Но здесь он так привык к фамилии “Петтифер” и ее вариациям, что поклялся, когда покинет остров, официально закрепить ее за собой. Обещал даже открыть архитектурное бюро под вывеской “Петтифер и партнеры”. Мы не спешили принимать его слова за чистую монету, но, если бы все так и вышло, никто бы не удивился.

Разумеется, мы предположили, что и Фуллертон успел прославиться на большой земле – в Портмантл попадали только признанные художники, потому-то его местоположение и скрывалось. Но мы были так оторваны от внешнего мира, что имя мальчика все равно бы нам ничего не сказало. Что до него самого, он удивлял нас с первого дня.

На ужин в тот вечер он не явился, и я с удивлением поняла, что беспокоюсь за него. А вдруг он разболелся, думала

я, вдруг заработал воспаление легких? Мысль о том, что он страдает у себя в комнате, была невыносима; намучавшись летом с инфекцией мочевого пузыря, я знала, как тоскливо валяться с температурой: сквозь ставни бьет солнечный свет, а ты лежишь и ждешь, пока подействует директорское лекарство. Хуже только болеть зимой. А потому мы вчетвером – хоть и не вполне единодушно – решили пройти мимо его дома после ужина, просто чтобы убедиться, что он здоров.

Петтиферу не терпелось заглянуть к нему в мастерскую и узнать, над чем он работает.

– Для художника парень слишком юн, – размышлял он за ужином. – Знавал я парочку хороших иллюстраторов младше двадцати, но *семнадцать*... Разве можно к такому возрасту обрести хоть сколько-нибудь авторитетный голос и стиль? Если он, конечно, не из этих чудовищных любителей поп-арта. Вроде не похож. Но зачем тогда ему дали мастерскую, когда наверху полно свободных комнат?

Мастерская Фуллертоня располагалась дальше всех от главного дома, в пятидесяти ярдах от моей – в окружении гранатовых деревьев, карликовых дубов и множества разновидностей олеандра, цветущего по весне. Усадьба состояла из десятка построек, раскиданных по девяти – а по ощущениям, и по всем пятнадцати – акрам земли. Ровно по центру царственно возвышался особняк в стиле модерн с тонкими коваными карнизами; деревянная обшивка так потускнела под натиском непогоды, что дом приобрел тоскливый слоно-

вий оттенок. Директор жил на верхнем этаже. Он специально не подновлял краску: бесцветность особняка была лучше любой маскировки. Под водостоком и кое-где еще виднелись остатки аквамарина, по которым можно было представить былое величие.

Двенадцать спален в особняке занимали гости, которым не требовалось много места и рабочих материалов: драматурги, романисты, поэты и детские писатели обитали в скромных комнатах по соседству с Эндером и двумя его помощниками – моложавой женщиной по имени Гюльджан, которая готовила, стирала и убирала, и нескладным парнем Ардаком, который следил за садом и чинил все, что не работает (вот бы он и нас починил). Комната отдыха была на первом этаже, кухня и столовая – на втором. Вокруг особняка по орбите выстроились восемь домиков из шлакоблоков с плоскими цементными крышами, на которых приятно было сидеть в хорошую погоду, глядя в невод моря или на звезды. Это были мастерские для художников, архитекторов, акционистов – для всех, кому требовалось большое рабочее пространство или место для хранения инструментов и оборудования. (На моей памяти в Портмантле побывала всего одна скульпторша, но от ее резцов и молотков было столько шума, что провожали ее с огромным облегчением – и больше скульпторов не приглашали.)

Величие домики-мастерские не уступали обувным коробкам, зато внутри было довольно просторно, а большие

окна впускали прохладу и солнечный свет. Моя мастерская служила мне не хуже любой другой. У меня имелось все необходимое: кровать, чтобы спать, железная печка, чтобы согреть замерзшие пальцы, трехразовое питание в особняке, место для омовения и отправления естественных нужд, а главное – упоительный покой, который точно никто не нарушит.

Подойдя к домику Фуллертон, мы увидели, что дверь открыта. Зажженные лампы отбрасывали желтый свет на утопанный снег у крыльца.

– Насколько я помню, он просил ему не мешать, – сказал Куикмен. – Может, он уже всю работу.

– Тсс! – перебила я его. – Слышите?

Из-за домика доносились странные звуки. Музыкой я бы их не назвала, но был в них какой-то пружинистый ритм.

– Видишь? – сказал Петтифер. – Все у него хорошо.

– Мы свой долг выполнили. Пойдем. – Маккинни потянула меня за локоть.

– Я схожу за доской, – сказал Куикмен. – По-моему, в последний раз она была у меня.

– Нелл, ты с нами?

– Идите. Я быстро. – Я поняла, что, пока не увижу мальчика, не успокоюсь.

Куикменовские партии в нарды порой затягивались допоздна – все зависело от того, насколько достойное сопротивление ему оказывал Петтифер; всю ночь до рассвета я бу-

ду работать, а завтрак, вероятно, просплю. Ни разу не проведать Фуллертона было бы жестоко.

– Я только в окно гляну.

Остальные попятнулись по снегу. Остановились на лунно-голубом пяточке между карликовыми дубами и стали жёстами меня подгонять: “Иди уже!”, “Не тяни!”, “Мы не будем торчать тут всю ночь!”

Я подошла к окну. Ставни сложены гармошкой, шторы еще не опущены. Внутри никого. На полу развязанный холщовый мешок, из него торчит ворох одежды. К кровати прислонена гитара. Мальчик не походил ни на композитора, ни на лихого рок-н-рольщика, но вполне мог писать музыку для театра или фолк-сцены.

И тут он вышел из-за угла дома, волоча за собой железный бак. Отойти от окна я не успела. При виде меня он застыл на месте, но не отпрянул и, кажется, даже не удивился. Затем потащил бак дальше, на ровное место, и, опершись о края руками, вдавил его в снег.

– Нелл с двумя “л”. – Его голос звучал не так сердито, как я ожидала. – Вы потерялись?

– Я просто хотела тебя проведать. – Вышло как-то зашуганно. – Тебя не было на ужине.

– А я не проголодался. Тайна раскрыта.

– Да, пожалуй.

Он уставился себе под ноги. В темноте над нами с карканьем пронеслась толстая ворона. Фуллертон вскинул голову:

– Тут вороны серые. Никак не привыкну.

– Это ты еще цапель не видел. Весной они прилетают сюда и вьют гнезда по всему острову. Чудесное зрелище.

Мальчик что-то вяло пробормотал. Затем скрылся в доме, оставив дверь нараспашку. Было непонятно, ушел ли он насовсем. Я ждала, слушая, как его подошвы шаркают по бетону. Вскоре он вернулся со стопкой брошюр или журналов, неся их перед собой, как дары. Не обращая на меня внимания, он с грохотом свалил все это в ржавый бак. Обложки сверкнули глянцем. Отряхнув ладони, он снова направился к двери, но на пороге обернулся и, прищурившись, уставился вдаль.

– Вас друзья ждут, – сказал он.

– Ты придешь на завтрак?

– Сомневаюсь.

Его враждебность была мне непонятна, и я привычно стала искать причину в себе, решила, будто ляпнула что-то не то.

– Обычно я не очень-то общительна, – сказала я.

Он вздохнул.

– Какое совпадение – я тоже.

– Но сейчас вот из кожи вон лезу.

– Очень мило с вашей стороны, но мне этого не нужно. Я приехал сюда за уединением, в этом весь смысл. С людьми я не лажу.

Он воздел руки и снова ушел в дом.

– Ты слишком юн, чтобы так рассуждать, – сказала я, когда он вернулся. Теперь он нес кипу смятых бумаг, перехваченных толстой резинкой. Большим пальцем он придерживал бордовый паспорт.

– Я достаточно взрослый, чтобы знать свои пределы. – Он бросил бумаги в бак. – А *вы* зачем сюда приехали? Ради компании?

Мне было что на это ответить, но он бы вряд ли стал меня слушать.

– Уединение и одиночество – две разные вещи.

– Ага. Поверю вам на слово. – Он похлопал по карманам ветровки. Под ней виднелся свитер из грубой шерсти, явно с чужого плеча: круглый вырез обнажал ключицу. Должно быть, свитер достался ему от Эндера или из коробки с забытыми вещами. Вдобавок на нем теперь были крепкие сапоги, добавлявшие ему роста. – Черт, – сказал он, снова себя охлопывая. – У вас спичек не найдется?

– Поищи в домике, у печки.

Он шмыгнул носом и харкнул.

– Там нет.

– Давай я тогда свои принесу. У меня полный коробок в мастерской.

– Не, не парьтесь. Значит, придется повозиться.

Присев на корточки, он запустил руки в снег, шишки и труху и принялся копать. Вскоре он уже пригоршнями вытаскивал ржаво-рыжую почву. Посыпавшись в бак, она уве-

систе забарабанила по металлу.

– Что ты делаешь?

Не отвечая, он продолжал черпать землю и сваливать ее в бак.

– Что ты хочешь спрятать?

Мое присутствие ничуть его не смущало – он рыл с какой-то яростной сосредоточенностью, точно лиса, охотящаяся на кролика. Когда бак заполнился на четверть, он остановился, плюхнулся в снег и привалился спиной к металлу. Ко лбу липли пряди волос. Он казался таким юным и напуганным.

– Фуллертон, – сказала я (попробуй произнеси такую фамилию с нежностью), – что с тобой?

Он сидел на месте, отдуваясь и глядя в пустоту.

– Ты хочешь, чтобы я ушла?

– Мне по барабану.

Остальные все еще ждали. Я обрадовалась, увидев их сгорбленные тени. Но стоило мне направиться к ним, как Фуллертон меня окликнул:

– Стойте. Подождите.

В его голосе была нотка раскаяния. Я обернулась.

– Ничего личного, – сказал он. – Просто... просто я еще не просек, что тут к чему. Здесь куда больше правил, чем я думал.

Почему его пустили в Портмантл, не дав полного представления о том, что его ждет? Мой спонсор два дня прово-

дил со мной инструктаж. Я вернулась к мальчику.

– Если что-то непонятно, спрашивай.

Он снова харкнул.

– Мне сказали, нельзя пить, колоться и пользоваться телефоном. Но ваш приятель Куиксон упоминал еще какие-то правила. Не знаю, может, он имел в виду жетоны на паром, я купил два, как и просили, второй валяется где-то в сумке. Думаете, он про это говорил?

– Он *Куикмен*, – улыбнулась я. – И, да, про это в том числе.

– А у вас есть жетон?

– Да, но не с собой. Я его спрятала. Это скорее примета, чем правило.

– А-а. – Он снова вздохнул. – Старик рылся в моей сумке. Я думал, это из-за жетона.

– Эндер, что ли?

– Ага, и меня обыскал. Станный какой-то.

– Эндер ничего, такая уж у него работа. Без правил это место давно бы закрылось.

– То есть тут всех шмонают?

– Только в первый день. Поверь, не ты один через это прошел.

– Просто неожиданно как-то.

– Странно, что твой спонсор тебя не предупредил.

Фуллerton поднялся на ноги и взгляделся в мое лицо, словно ища в каждой поре слабину.

– Я, в общем-то, сюда ненадолго. Проветрю голову – и об-

ратно, заканчивать начатое.

– Я бы на твоём месте не ставила себе жестких сроков. Как пойдет, так пойдет.

Мне хотелось сказать ему, что поначалу я тоже так думала. Что обрету ясность в считанные дни. Что мне не потребуются вмешательство директора: специально подготовленные и подписанные от моего имени документы на долгосрочную визу. Но какой смысл еще больше его запугивать?

– Знаешь, – сказала я в итоге, – когда я приехала сюда, мне очень повезло. В первую, самую трудную пору меня было кому поддержать. Помнишь Маккинни?

Он кивнул.

– Мы с ней прибыли в один день. Добирались на одном и том же пароме от пристани Кабаташ – сами того не подозревая. Без нее я бы так долго не продержалась.

– Слушайте, я рад, что у вас все сложилось, – ответил он. – Но это не значит, что и у меня сложится. Мы разные. Я ни на кого не могу рассчитывать, кроме себя.

– А ты попробуй. – Я смотрела на него с улыбкой, пока он не поднял на меня взгляд. – Мы все тут одиночки. Но в правильной компании можно быть и вместе, и самим по себе. Такие вещи приходят с возрастом.

– Это не про меня. Не обижайтесь.

– Все случится само собой. – Сочувствовать мальчику было легко. Не только потому, что он был потный и чумазый, но и потому, что я хорошо помнила, каково это – быть под-

ростком, как утомительно все время держаться настороже, никого к себе не подпускать, бояться душевных ран. – Кстати, Тиф и Кью могут подсказать, как лучше избавиться... ну... от того, что у тебя в баке.

Мальчик смерил бак взглядом и пнул носком сапога.

– Да я сам. И к тому же, – он кивнул на рожицу у меня за спиной, – они уже ушли.

Ушли, но недалеко. Среди деревьев вырисовывались их силуэты. Они направлялись к моему домику.

– Свистеть умеешь? – спросила я.

Поразмыслив, мальчик сунул в рот грязные пальцы и, точно закипевший чайник, пронзительно засвистел. Остальные не сразу сообразили, что сигнал предназначен им.

Первым пришел Петтифер, зажимая уши ладонями.

– Тебя даже в Серенгети⁶ слышали. Что за срочность? – Он оперся о мое плечо.

– Фуллертон хотел с тобой посоветоваться.

– Да что вы говорите. Слышал, Кью? Со мной хотят *посоветоваться*.

– Боже правый, – ответил Куикмен, подоспев за ним следом. – Что дальше?

Они рассмеялись.

Маккинни сразу обратила внимание на внешний вид мальчика. На щеках тускло-красные полосы грязи.

– У вас тут все нормально? – спросила она.

⁶ Серенгети – национальный парк в Танзании.

– Я просто пытаюсь избавиться от ненужных вещей.

Когда мальчик изложил свой план с железным баком, Петтифер выпятил нижнюю губу и покачал головой:

– Нет, я бы не советовал жечь что-то в баке без керосина. И надо сложить сверху шалашик из веток, чтобы задать направление пламени. Иначе все может быстро выйти из-под контроля.

Мальчик отступил назад.

– Наверное, это даже к лучшему, что у меня нет спичек.

– Я как-то раз решил поджарить свою рукопись в гостях у редактора, – сказал Куикмен. – Видели бы вы, что стало с его лужайкой. Не думал, что будет столько пепла. Опасное дело.

Петтифер согласно хмыкнул.

– Без должных умений не успеешь глазом моргнуть, и даже небольшой костерок превратится в пожар.

– Откуда вы об этом столько знаете? – спросил Фуллертон.

– У меня отец был вожатым скаутов.

– Круто.

– Он бы с тобой согласился.

– Мой меня даже в походы не брал, – сказал мальчик. – Но я сам ходил.

– И правильно.

– А он разрешал вам носить перочинный ножик?

– Нет. Но сам с ним не расставался.

Маккинни оглянулась на мансардные огни особняка

и зевнула. Морщины на ее лице разгладились, остались только вокруг глаз, похожие на рисунок древесных волокон.

– Придется нам с тобой, Нелл, привыкать к этим ковбойским разговорам. Скоро небось начнут поединки с револьверами устраивать.

– Отличная мысль, – сказал Куикмен.

– Пока до этого не дошло, пойду-ка я лучше спать.

– А как же наша игра? – спросил Тиф.

– Я что-то не в настроении. Но ставку, пожалуй, сделаю. Горсть зерен французской обжарки на Куикмена, – шепнула она мне на ухо. – Если будет два-два, повышай.

Я кивнула.

– Я придержу твой выигрыш.

Она чмокнула меня в щеку.

– Всем спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Мак.

Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась во тьме. Она часто уходила пораньше, ссылаясь на работу. Но тем вечером она ни словом не обмолвилась о пьесе, и я решила, что ее снова мучает бессонница. (Маккинни шутила, что самое верное лекарство для нее – перечитывать ранние варианты своей рукописи: “Меня от собственной писанины клонит в сон даже среди бела дня”.)

– А что ты пытался сжечь, если не секрет? – поинтересовался Куикмен. – Надеюсь, там нет ничего, что я мог бы выкурить?

– Просто вещи, которые нельзя было привозить. Я думал, старик разрешит их оставить, но он велел мне от них избавиться.

– А-а. Это мы уже проходили.

– А кое-кто и дважды, – вставил Петтифер.

Фуллerton улыбнулся. Казалось, его лицо не привыкло к таким усилиям.

– У нас тут не соревнование.

– Кстати, о соревнованиях, – сказал Куикмен. – Мы собирались сыграть в нарды. Умеешь?

Мальчик отвернулся.

– Кажется, играл один раз. В школе. Теперь меня больше интересует покер.

– Покер! Для нас это слишком по-голливудски. Мы с Тифом по воскресеньям всегда садимся за доску, победитель определяется по результатам пяти партий, и, сказать по правде, – Куикмен приставил ко рту ладонь и театрально прошептал: – Он безнадежен. Я не прочь разгромить кого-нибудь еще.

– Ладно, – сказал мальчик. – Когда?

– Прямо сейчас.

Петтифер кашлянул.

– Для новичков у нас ставки высоковаты.

– Ну прямо, – быстро возразила я. Мне хотелось, чтобы Фуллerton поскорее влился в нашу компанию, тем более что обычно Куикмен не был так щедр на приглашения.

Мальчик заинтересовался:

– Вы на деньги играете?

– Нет, на всякие безделушки, – ответила я. – Нам особо нечего ставить.

– Однажды я чуть не выиграл у Куикмена его трубку, – сказал Петтифер. – Шести очков не хватило. Какая сила оказалась бы в моих руках!

– Да, – сказала я, – у них было пару эпичных сражений. Но Кью непобедим.

– Ладно, я с вами, – сказал мальчик. – Почему бы и нет.

– Шикарно! Устроим турнир. – Куикмен хлопнул в ладоши и потер руки. – Тащи доску, Тиф. Она у меня в комнате. – Давно я не слышала в его голосе столько энтузиазма. – Нелл, можно опять к тебе? Нам понадобится большой стол.

В глазах мальчика тоже читалось воодушевление: все происходило, как я и предсказывала, – само собой.

* * *

Перекроенный историей, происходившей без нас, мир, который покинул Фуллертон, отличался от мира, каким его знали мы, и тем не менее путь в Портмантл был одинаков для всех. Порядок приема не менялся никогда. Сначала ваш спонсор связывался с директором – без его разрешения не разглашались никакие подробности. Местоположение Портмантла было тайным знанием, передаваемым по наследству

от старых постояльцев новым, но, если ваш спонсор давал путанные указания, вы могли и вовсе туда не добраться.

Гость, покинувший остров “с чистым досье” – то есть умышленно не нарушивший никаких правил, – мог сам выступить в роли спонсора и выдвинуть одного кандидата. Творца, нуждающегося в заповедном уголке. Но лишь того, кому это действительно необходимо. Расходы на проживание покрывал спонсор, сумма небольшая, вносилась каждый сезон, но выплаты могли растянуться на неопределенный срок – как в случае со мной, Маккинни, Куикменом и Петтифером. Спонсор должен быть уверен, что его протеже и впрямь достоин поддержки, ведь, может статься, он связывает себя обязательствами до конца жизни. Обязательствами, которые нельзя ни снять с себя, ни передать кому-то еще. Из-за этого мы, старожилы, пользовались в Портмантле особым уважением – раз наши спонсоры готовы так долго поддерживать нас, значит, высоко ценят наши таланты. Впрочем, были и те, кто смотрел на нас потухшим от жалости взглядом, словно мы – всего-навсего тени себя прежних, выцветшие и обреченные на провал.

Лишь когда директор одобрит вашу кандидатуру, узнаете вы, где расположено прибежище. Лишь тогда сможет спонсор дать вам подробные указания, которые нужно будет быстро запомнить, поскольку ни записывать, ни повторять вслух их нельзя. Лишь добравшись до Лионского вокзала в Париже, сможете вы открыть конверт с паролем, который

прислал вашему спонсору директор. Лишь тогда сядете вы на поезд “Симплон-ориент-экспресс”, отбывающий в Лозанну, по билету второго класса, который ваш спонсор оплатил под своим именем, под своим настоящим именем, и – с остановками в Милане и Белграде – доберетесь до турецко-болгарской границы и предъявите паспорт на конечной остановке в Стамбуле. Лишь тогда заплатите вы пошлину и получите визу, а потом отыщете дешевую гостиницу, которую забронировал ваш спонсор, и сожжете паспорт в ванне, а чтобы не сработала пожарная сигнализация, польете его из душа (это делается на раннем этапе, чтобы потом нельзя было передумать). Лишь тогда вступите вы в залитый весенним солнцем распахнутый город и, шагая вдоль главной дороги, утопающей в транспорте, мимо такси с опущенными стеклами и ревушей музыкой, мимо дребезжащих трамваев и громадин-мечетей, выйдете к пристани Кабаташ.

Лишь тогда опустите вы тусклый жетон в приемник турникета, как учил ваш спонсор, а второй, такой же, сохраните на обратную дорогу, чтобы всякий раз, когда ваши пальцы заденут его в складках кармана, он напоминал вам о пути домой. Лишь тогда зайдете вы за ограждение, в жаркую влажность терминала, – на голове шляпа, глаза спрятаны за темными очками – и станете ждать, обмахиваясь газетой, когда откроются двери и можно будет ступить на борт белого судна. Лишь тогда найдете вы местечко на верхней палубе, среди общей толкотни, у поручня, откуда можно смотреть, как

отчаливает паром, чувствуя внезапный бриз на щеках, соленую прохладу на губах, радость момента. Лишь тогда узнаете вы все величие Мраморного моря, бездонного, сияющего, наползающего со всех сторон.

И это будет ваша последняя возможность откинуться на спинку скамьи и выдохнуть, послушать крики чаек, что одуряющими стайками летят за кормой, словно провожая вас. Вскоре турки начнут перегибаться через борт, протягивая кунжутные бублики, чайки – вырывать хлеб у них из пальцев, пикируя и клекоча; и вы поймете, что чайки – никакие не провожатые, а просто подхалимы и вымогатели, как и все, от кого вы пытаетесь уплыть.

Лишь на первой остановке – пристани Кадыкёй – расстегнете вы застежку на часах: пускai скользнут меж досок скамейки, будто вы их потеряли. Лишь проплывая мимо первого странного острова, оцените вы, как далеко оказались от мира, который знали, от людей, которых любили и не любили. Лишь миновав следующие два острова (один – широкий и необитаемый, другой – скудная полоска зелени, где живут, похоже, одни цапли), осознаете вы, как близко подобрались к тому, что вам необходимо. Лишь тогда увидите вы армейско-зеленый горб Хейбелиады, вздымающийся в солнечной дымке, и поймете, что вы у цели.

Лишь тогда вместе с укачанными туристами спуститесь вы на нижнюю палубу и, когда паромщик перекинет ветхий канат на причал, сойдете на берег, странным образом чув-

ствуя, что вы почти дома. Лишь тогда, обогнув плац военно-морской академии, где занимаются строевой подготовкой курсанты в форме, пойдете вы на юго-восток, как вас учили, и будете двигаться по улице Чам-лиманы-ёлу, пока дороги не станут уже, безлюднее, а редкие домишки не уступят место лесу. Лишь тогда сможете вы затеряться среди сухих, наклонившихся сосен, чувствуя, что отныне избавлены от всех тягостей. Лишь тогда увидите вы плечи потемневшего от времени особняка над макушками деревьев. Лишь у его ворот бросите вы на землю рюкзак, нажмете на кнопку звонка и будете наблюдать, как по тропинке спускается подслеповатый турок с седыми усами и ружьем, чтобы спросить через прутья, кто вы. Лишь тогда сможете вы назваться другим человеком. Лишь тогда старик спросит у вас пароль, а вы – выпустите эти слова на волю и, произнеся их, лучше поймете их смысл. Лишь тогда откроются ворота и впустят вас, движимые рукой старика. Лишь тогда скажет он: *Portmantle'ye hoşgeldiniz*⁷.

⁷ Добро пожаловать в Портмантл (тур.).

3

Когда мальчик в первой же партии разбил Петтифера наголову, мы хором воскликнули “новичкам везет”, но потом они сыграли еще две, каждая чуть быстрее предыдущей, и стало ясно, что юный Фуллертон – блестящий тактик. Он выиграл у Петтифера целую гору сокровищ: стакан для чая, заводную черепашку из камфорного дерева, плетеный кожаный ремень; а я, поскольку ставила на Тифа, вынуждена была расстаться с последней упаковкой коричной жвачки. Мы полагали, что Куикмен, игрок более проницательный, опытный и агрессивный, окажется Фуллертону не по зубам, но мальчик обыграл его во всех партиях, причем с большим перевесом. По сути, никакого соревнования и не было. Когда с Куикменом было покончено, мальчик прибавил к своим трофеям перьевую ручку, римскую монету и серебряную зажималку с выцветшими инициалами, доставшуюся Куикмену от отца. (Тиф, поставивший против Кью, вернул свои мокасины, а я выиграла у Мак кофейные зерна, но решила, что как-то несправедливо забирать их в ее отсутствие.)

– Нас одурачили, – сказал Куикмен, глядя на оставшиеся на доске шашки. – Тот последний ход, когда ты сбил мою фишку и спрятал от удара свою, был как на турнире мастеров. Да ты небось региональный чемпион. Или, может, чемпион страны?

Мальчик широко улыбнулся.

– Клянусь, я и играть-то толком не умею.

– Рассказывай кому-нибудь другому.

– Мне просто повезло. Кости удачно выпали.

– Ерунда. В жизни не видел столько блоков. Это была стратегия.

– Вот-вот, – вставил Петтифер. – И очень эффективная.

Мальчик ни в чем не признавался.

– Вам виднее.

– Надо мне к следующему разу поработать над тактикой, – сказал Куикмен.

– Вряд ли вам это поможет.

Было непонятно, всерьез он это или просто красуется. Мальчик встал, снял со спинки стула ветровку и подошел к моей стене с образцами. Лампы дневного света так ярко освещали комнату, что глазам представало лишь скопление белых лоскутков – коллаж из квадратиков холста, расположенных в порядке, понятном мне одной. Их было не меньше сотни, и на каждом – мазок белой краски, едва различимый на белом же полотне. Фуллертон подошел поближе, пытаюсь разобрать карандашные пометки на полях.

– Над чем вы работаете, Нелл? – невинно поинтересовался он. – Дайте-ка угадаю: это связано с белым?

Петтифер прищелкнул языком.

– Переступаешь черту.

– Ничего, – сказала я.

– Нет, ну послушай, он же должен быть в курсе.

– У нас тут не принято вмешиваться в чужую работу, – укоризненно сказал Куикмен.

Фуллerton примирительно вскинул руки:

– Господи! Ну извините. Больше не буду.

– Это заготовки для панно, – сказала я. – Больше вам пока знать не положено.

– А давить на нее мы не вправе, – добавил Куикмен.

Мальчик все еще рассматривал стену.

– Неужели вам никогда не хотелось посоветоваться друг с другом? Ради взгляда со стороны?

Я уже почти привыкла разговаривать с его спиной.

– Бывало. Но тогда я писала бы не для себя. А писать нужно только так.

Куикмен одной рукой собирал шашки, яростно стуча ими об доску. Судя по его резкому тону, он еще не оправился от проигрыша:

– Здесь тебе не школа искусств. Если ты приехал за советами, то обратился не по адресу.

Фуллerton обернулся и засучил рукава.

– Да нет. Я человек скрытный. – На левом запястье у него остался бледный круг от часов. – Я здесь, чтобы кое-что доделать. Не буду утомлять вас подробностями.

– Я видела у тебя в мастерской гитару, – сказала я. – Давно у нас тут не было музыкантов.

– Ой, я бы не назвал себя музыкантом.

– А кто ты тогда?

Он отошел от стены на пару шагов и прищурился.

– Жаклин Дюпре – вот она музыкант, *настоящий*; Glenn Gould, Майлз Дэвис⁸. Я *могу* под настроение выдать какой-нибудь фолк. Но в последнее время настроения что-то нету.

Петтифер встал:

– Тебя послушать, так все очень просто.

– Уверен, все далеко не так просто, как он описывает, – сказал Куикмен. – Иначе его бы здесь не было.

Мальчик слабо улыбнулся:

– Остановите меня, если я слишком уж разоткровенничался.

– Мне всегда хотелось освоить какой-нибудь инструмент, – сказала я. – Но не идет, и все тут. Это как с нардами.

В детстве я частенько вынимала из футляра мамину гармонь и пыталась извлечь из нее какую-нибудь мелодию, но та лишь жалобно хрипела.

– Я учился сам, по книжке с картинками, – сказал мальчик. – Там ничего сложного.

Куикмен сложил доску и сунул ее под мышку.

– Последний музыкант, который здесь был, всю ночь играл на своей сраной флейте. Ощущение было, будто у тебя

⁸ Virtuозные музыканты XX в.: Жаклин Дюпре – британская виолончелистка; Glenn Gould – канадский пианист, органист и композитор; Майлз Дэвис – американский джазовый музыкант, игравший на трубе.

под крышей свили гнездо соловьи. Я был вот настолько близок к тому, чтобы его придушить.

– Тогда я лучше буду потише.

– Уж постарайся, коли тебе дорога жизнь.

Мальчик ничего не ответил. Чуть наклонившись, он снова разглядывал мои образцы.

– Знаете, Нелл, есть в этой стене что-то умиротворяющее. Хоть чужое мнение вам и безразлично.

– Пока это только наметки. Но спасибо.

Хотя слово “умиротворяющее” было произнесено с явным восхищением, я не стала уточнять, что он имел в виду.

Обойдя мольберт, он подошел к моему рабочему столу и принялся копать в грудe инструментов: взял мастихин, стал рассматривать засохшую краску на лезвии.

– Эй! Руки! – воскликнул Петтифер.

– Простите.

Вернув мастихин на место, он отошел подальше.

– Ты не подумай, что мы придираемся, – сказала я. – Просто у нас тут свои порядки, и мы к ним привыкли.

На самом деле я бы и глазом не моргнула, если бы он опрокинул мой стол, разломал его и попрыгал на досках. Там не было ничего ценного, лишь налет затянувшегося на годы проекта: мутный скипидар в банках из-под консервированных персиков; засыхающие в тубиках масляные краски; ве-тошки и палитры в разноцветных сгустках; кисточки в банках с серой водой, точно забытые цветы. Такие обыденные

вещи ничего для меня не значили. Я хранила их, потому что некуда было девать, а еще как напоминание о пределах своих возможностей. Моя настоящая работа была связана с образцами на стене, и я скорее отрубила бы ему руку, чем позволила к ним притронуться. Но он и не пытался.

Мальчик застегнул ветровку. Карманы топорщились от трофеев.

– Ладно, пойду баиньки. Спасибо за игру. Я уж думал, что все ходы позабыл.

– Я так и знал! – Куикмен повалился в кресло. – Одурачил нас.

– Вот те на. Значит, ты все-таки профи? – спросил Петтифер.

– Ну, может, я и участвовал в паре-тройке турниров. Подпольных, так сказать.

– На деньги?

– Не вижу смысла играть иначе.

– Видел я эти подпольные клубы, – сказал Куикмен. – Такого мальчика туда бы ни за что не пустили.

– В тех местах, о которых я говорю, возраст не проверяют. Нетрудно найти игру с реальными ставками, скажем, на Грин-лейнс – вы видели, сколько там киприотов? Если понаблюдать за ними, можно кое-чему научиться. После пары рюмок они готовы всю ночь обсуждать стратегию.

В его манере – голова набок и чуть опущена – было что-то неубедительное. Я просто не могла представить, как он спус-

кает карманные деньги в грязном лондонском кабаке с толпой киприотов. Он плел небылицу. Куикмен, очевидно, подумал то же самое. Погладив бороду, он с сомнением произнес:

– Грин-лейнс, говоришь?

– Ага. – Мальчик ухмыльнулся и надел капюшон. – Спасибо за жвачку, Нелл. Как-нибудь вы обязательно ее отыграете. – Он дернул дверь на себя. – Всем сладких снов.

И ушел.

Куикмен подождал, пока шаги мальчика стихнут, затем встал и застегнул пуговицы на полушубке.

– Какой-то он подозрительный, этот парень. Не знаю, стоит ли его сюда приглашать.

– Ты скуксился из-за того, что он тебя разгромил, – сказал Петтифер.

– Ну ладно, возможно. – Куикмен поднял воротник. Вокруг шеи овчина пообтерлась и засалилась. – Но все равно с ним что-то не так. Или я несправедлив?

– Нет, он и правда странный, – сказала я. – Но ты мне тоже таким поначалу казался.

* * *

Рано было утверждать, что между нами установилась связь, но в поведении мальчика я видела отголоски собственной юности. Примерно в этом возрасте я и начала писать –

еще не покинув родительского крова и не имея в глазах общества достаточно жизненного опыта, чтобы считаться авторитетом в чем-либо, кроме нарядов и школьных сплетен. Но уже тогда я знала, что понимаю живопись. К шестнадцати годам я пролистала достаточно альбомов по современному искусству, чтобы научиться различать, где глубина, а где зияющая пустота. И раз уж мои предшественники создали столько банальностей, чего же тогда бояться мне? Их неудачи послужат мне парашютом. Так я и начала: без страха, без сомнений, без ожиданий. Это было в 1953 году.

За пару недель до выпуска, когда мои одноклассницы уже начали искать работу на лето, я пробралась в кабинет рисования в средней школе Клайдбанка и стащила из шкафа масляные краски. Затем выломала пару старых досок из заброшенного сарая и поволокла их домой по Килбоуи-роуд. Распилив и ошкулив доски отцовскими инструментами, я спрятала их за ящик с углем. Удовольствие, тайный умысел так окрыляли, что я не находила себе места. Тем летом я вся отдалась живописи.

На задворках нашего многоквартирного дома, как можно дальше от вонючих помойных ям, я прислонила первую доску к стене. Ее пустота меня не пугала. Я не изучала ее фактуру, не задумывалась, достаточно ли она ровная, хорошо ли загрунтована, не потребуются ли потом покрыть ее лаком. Я просто подошла к доске, как к мальчику, которого решила поцеловать, и, набрав синего фталоцианина, порывисто маз-

нула по ней маминой кондитерской лопаткой. На моих плечах не громоздилась история, классические источники тяжелыми тучами не висели над моей головой. Одна, без влияния извне, я вольна была слой за слоем накладывать комковатую краденую краску прогибающейся лопаткой, мазюкать пальцами, тыкать кулаками, щипать, шлепать, царапать, скрести. В голову не лезли замечания по технике, потому что я их не приглашала. Я просто двигалась, выражала, жила, орудуя лопаточкой спонтанно, интуитивно. Я пыталась воспроизвести одну сцену, засеvшую у меня в голове, что-то из отцовских рассказов про войну, но писать могла только так, как сама ее представляла, а не как было на самом деле. Часы и минуты таяли в воздухе. Вскоре мои руки пропитались цветом, краска пленкой облепила костяшки и забилась под ногти. Немое кино мира – того, другого, внешнего мира, о котором я позабыла, – взорвалось автомобильным ревом и уличным гулом. Соседи ругались в подъезде, выносили совки с золой во двор, гоняли с лестничных клеток мальчишек с футбольными мячами. Спускались ранние сумерки, из окна доносился голос матери, уже вернувшейся с работы. Она меня звала. Тогда я подняла голову и взглянула на законченную работу.

Вот она, подсыхает у стены – полуабстрактная картина, созданная в суматошном порыве. Намек на место, где я не бывала. Брызги дождя. Грифельно-серый, испещренный бомбами океан. Останки литейного завода, разбросанные по небу. Обрушивающийся автомобильный мост или,

быть может, стена – и еще столько всего незнакомого, своей уклончивостью выражающего больше, чем я сумела бы облечь в слова.

Когда мама спустилась во двор и увидела картину, она, как по рунам, прочла в ней мое будущее. “Эт еще что? – спросила она. – Эт ты нарисовала?” Она отчитала меня за то, что я потратила весь день на глупую мазню, и велела отмыть ее лучшую кондитерскую лопаточку. Надо проводить время с пользой, у нее для меня куча дел. Но на следующий день я снова писала, и на следующий, и на следующий, и никакие наказания на меня не действовали.

Что же случилось с этим духом с задворок? Когда он меня покинул?

Я всегда мечтала о чем-то большем, чем прожить жизнь своих родителей во всей ее рутинности, но в школе занималась спустя рукава – едва наскребла на проходной балл по английскому и истории, а потому путь в учителя мне был заказан. И все же я не могла довольствоваться работой на фабрике “Зингер” или на складе при пекарне, как предписывал отец. Радость от живописи тормозила меня среди ночи, подтолкнула подать документы в Школу искусств Глазго, внушила мне, что я могу добиться чего угодно, нужно только взяться за ум. Изучив папку с моими работами, секретарь приемной комиссии сказал: “Ваше творчество наивно. Вас тянет к абстракции абстракции ради. Однако в женских картинах редко встретишь такой градус, и к тому же вы

еще очень юны. Разумеется, маслом вы начнете писать только на третьем курсе, так что у вас будет время искоренить дурные привычки”. Неделю спустя он написал мне, предлагая стипендию. “Искренне надеемся, что вы согласитесь”, – добавлял он в конце, будто у меня был выбор.

В октябре я уже ходила на лекции по теории цвета и изучала по слайдам канон; делала небрежные наброски овощей на уроках рисования; измеряла карандашом пропорции обнаженных натурщиц в холодных мастерских. Родительский дом остался где-то далеко, а меня не покидал страх, что “градус” моих работ снижают, усредняют чрезмерным оттачиванием техники. На самом деле уроки по основам рисунка и технике старых мастеров лишь распалили мое желание писать. На этих занятиях я совершала самые неожиданные открытия: как обозначить настроение тела одним штрихом карандаша “Конте”, как обогатить повествование через композиционные решения. Дух с задворок выжил во всех работах, которые я сделала в тот период, хоть мои ранние учителя его и не поощряли.

Расправить крылья мне удалось на кафедре монументальной живописи, под руководством Генри Холдена. Меня вдохновляли великие традиции настенной росписи от первобытных наскальных рисунков в пещере Ласко, мозаик в равеннских и византийских церквях, фресок Джотто, Тинторетто, Микеланджело и Делакруа до политических пасьянсов Диего Риверы. На семинарах Холдена все меня вооду-

шевляло и ничто не сковывало. Старый, долговязый, он был социалистом, носил очки-половинки и каждый месяц давал нам удивительные задания: “Придумайте сцену бала на «Титанике»”. (Мне с моим балетом кочегаров в кепи, катающих тележки с углем, снизили балл за “пренебрежение контекстом”.) “Напишите сцену из Шекспира, показав ее связь с современностью”. (Я изобразила шеренгу многоквартирных домов Глазго, где у каждого окна сидит Джульетта, кладбища полнятся надгробиями Ромео, а по улицам разгуливают раненые Меркуцио в военной форме. Картина была отобрана в коллекцию Школы и впоследствии утеряна.)

Холден был лучшим наставником в моей жизни. Чтобы “приглашенные экзаменаторы не капали на мозги”, он уволил нас от влияния Пикассо (“такой талант ни привить, ни повторить”), зато не навязывал академических приемов, священных для других преподавателей, – прямая перспектива, точка схода, светотень. Великая монументальная работа, любил повторять он, находится в постоянном диалоге со средой: не теряясь на заднем плане и не перетягивая внимание на себя, она должна балансировать “на невидимой грани где-то посередине”. Когда Холден говорил, его слова оставались с тобой. Любуясь неоконченной работой, он крутил мочку уха, точно это был вентиль, а прохаживаясь по коридорам на верхнем этаже, громыхал тростью о батарею или насвистывал Ирвинга Берлина⁹. Иногда он ходил с нами в “Стейт-бар”

⁹ Ирвинг Берлин (1888–1989) – крупнейший американский композитор, напи-

и до самого закрытия баюкал маленькую порцию виски.

Самое вольное задание Холден дал на четвертом курсе, к выставке дипломных работ. “Напишите панно для платформы на Центральном вокзале”. Тема и материалы любые, без ограничений. “Это необязательно должно быть что-то связанное с вокзалом. Но конечно, вы должны подумать о том, как работа будет преломляться через окружение, и наоборот. Я хочу посмотреть, куда заведет вас фантазия. Но также я хочу, чтобы вы направляли ее в нужное русло. Понятно?”

Неделями я силилась выдать хотя бы одну идею. Парализованная и опустошенная, я дни напролет проводила в мастерской в поисках хотя бы намек на нечто настоящее, но любые проблески тут же гасли на страницах блокнота. Интуицию затмила тревога: а вдруг духа с задворок недостаточно? Вдруг мне вообще не стоило его слушаться? И тут на помощь мне пришел Холден. Протиснувшись в мой закуток и увидев пустоту холста, натянутого на подрамник, он спросил:

– Что такое, Элли? Ты что же, утратила боевой дух?

Я призналась, что именно так себя и чувствую.

– Тогда выбери другое сражение. Не бойся баламутить воду.

– Это как?

савший песню “Боже, благослови Америку”, которая стала неофициальным гимном Штатов.

Холден задумчиво посмотрел на меня, будто увидел впервые.

– Напомни-ка мне, ты католичка?

– У меня мать католичка.

– Я не об этом спрашивал.

– Ну, пожалуй, я все еще верю в Бога, но не в то, что сказано в Библии.

– Отлично. Пиши то, во что веришь.

Совет этот показался мне таким расплывчатым и бесполезным, что я еще больше растерялась. “Пиши то, во что веришь”. С тем же успехом мог бы сказать: “Пиши воздух”. Но позже, когда я пыталась уснуть в своей тесной квартирке, его слова пощипывали меня, пока я не уступила их смыслу. Холден не просил меня искать в себе набожных устремлений – он предлагал мне написать мир таким, каким я его вижу, донести до людей свою правду. Я должна создать такое панно, какое сама хотела бы видеть, стоя на платформе с чемоданом и ожидая, пока подкрадется поезд и унесет меня прочь. Оно будет перекликаться с окружением, но также и выходить за его пределы. Оно будет и личным, и публичным.

Я работала всю ночь, до первого света, исследуя свои идеи тушью, затем развивая их гуашью. На следующий день, когда Холден заглянул в студию, я уже размечала эскиз, чтобы перенести изображение на холст.

– О, – сказал он, – все-таки выбрала сражение.

И больше я его не видела до тех самых пор, пока карти-

на размером двенадцать футов на три не была закончена. На выставке дипломных работ она собирала небольшие толпы. Одни недоуменно почесывали голову. Многих она будоражила. Я чувствовала, как меняется траектория моего движения.

На той картине была изображена обычная вокзальная платформа. На переднем плане клубился пар локомотива, выполненный в серых тонах. В одних местах краска лежала тонкими, полупрозрачными слоями, в других – блестящими сиропными сгустками масла и лака. Слева, в завитушках пара, виднелись мужчины в лохмотьях и женщины в грязных одеждах с младенцами на руках. Они валили на платформу суматошной оравой, спотыкаясь друг о друга, падая ничком. Справа, в тихом уголке, где рассеивался туман, стоял человек в мешковатом костюме в полоску, корпус повернут, лицо скрыто, взгляд устремлен через плечо. Правая рука, отмеченная стигматом, сжимает терновый венец. Ноги босые, каштановые волосы зализаны назад. Из портфеля, зажатого в другой руке, капает овсянка. В нагрудном кармане – Библия. Позади него виднелись залитые солнцем пастбища, огороженные забором с колючей проволокой; корабли, покидающие порт; линия моря вдали. Я назвала картину “Просители”.

Приглашенный экзаменатор был так оскорблен моей работой, что не счел ее достойной проходного балла. Я предчувствовала, что реакция будет сильной, но не до такой же

степени, чтобы школа отказалась выдать мне диплом. Работая над “Просителями”, я мечтала, что их установят на Центральном вокзале, представляла, как на выставку приходит директор железнодорожной компании и влюбляется в мою картину. Я позаботилась о том, чтобы холст можно было снять с подрамника и приклеить на грунтованную основу, как это делали великие монументалисты в Штатах. Я полагала – тщетно надеялась, – что она поможет мне привлечь заказчиков. А вместо этого меня поставили перед выбором: либо заново отучиться на четвертом курсе, либо выпуститься без диплома. Я решила, уж лучше упаковывать иглы для швейных машинок на пару с матерью.

В конце учебного года, когда выставку уже разбирали, я пришла за вещами. Генри Холден вызвал меня к себе в кабинет. Я сидела на заляпанной краской кушетке, а он ворошил бумаги на столе. От него разило виски.

– Я снова разговаривал с членами правления, – сообщил он. – Хотел бы я сказать, что они передумали.

– Я начинаю считать, что это к лучшему.

Он замотал головой:

– Брось. Ты представила замечательную работу, и мне стыдно, что эти труссы оказались ее не достойны. Когда ты прославишься и разбогатеешь, они будут выглядеть довольно глупо. Ладно... – Он взял папку, быстро проглядел ее и отшвырнул в сторону. – Из газет и радио ты об этом не узнаешь, но... А, вот. – Он развернул листок, подозритель-

но смахивающий на чек из магазина продуктов, и пробежал его глазами. – Тут появилась одна оплачиваемая стажировка, можешь записаться.

– По-моему, я не...

– Тсс. Послушай. Это отличная возможность. – Он умолк, сухо сглотнул, и тут до меня дошло, что он в стельку пьян. – Сразу тебя предупреждаю, сумма небольшая, но все уже решено, и председатель комиссии, то бишь я, очень расстроится, если ты откажешься. Более того, он настаивает, чтобы ты согласилась. На, взгляни. – Он протянул чек. На обратной стороне было карандашом нацарапано имя, Джим Калверс, с адресом и номером телефона. – Один мой бывший студент ищет себе ассистента в Лондоне. Если будет плохо платить, позвони, и я на него поднажму. Конечно, это не то же самое, что диплом или даже полноценная стипендия, но все же... Вот адрес.

Я готова была его расцеловать.

– Вы не обязаны хлопотать за меня, Генри.

– Я знаю.

– Я этого не заслуживаю.

– Тогда отдай листок, и я его порву. – Он со скрипом подался вперед в кресле и выставил ладонь. Я никогда не забуду этого мгновения с Холденом, с какой уверенностью он на меня посмотрел, зная, что бумажку я не верну. – Так я и думал, – сказал он, убирая руку. – Джим не сразу поймет, что ты талантливее его. Когда это случится, двигайся дальше.

А пока что – думаю, вы споетесь. Он тебя уже ждет.

Если бы я поступила иначе, устроилась на фабрику к матери, как и планировала, возможно, я больше никогда бы не взяла в руки кисть. Но еще неизвестно, что хуже – жить без искусства или позволить искусству поглотить тебя и выплюнуть кости? До сих пор бывают дни, когда я принимаюсь подсчитывать, сколько игл для швейных машинок могла бы упаковать.

Хотя появление Фуллертона, несомненно, сказалось на моем творчестве, самым важным своим открытием я обязана не ему. Как-то раз, весной, почти за год до его приезда, я бродила по лесу в поисках цапель. Одну я все-таки нашла – в самой глуши, на гнилом, усыпанном грибами стволе. Усевшись неподалеку, я начала рисовать эту чудесную птицу, но, не дав мне закончить, она взметнулась в воздух. Я побежала за ней, выглядывая ее сквозь ветви, но она быстро скрылась из виду, а тут как раз задребезжал звонок к ужину. Уже после захода солнца, вернувшись к себе в мастерскую, я обнаружила, что оставила блокнот где-то в лесу. Большинство зарисовок было не жалко, но из набросков цапли могло выйти что-нибудь путное, и терять их не хотелось. Прихватив фонарик, я вновь отправилась в лес.

Той ночью тьма была густа, в ясном небе мерцали звезды. Взошла молодая луна, бледно-желтые огни окрестных островов были совсем близко. При свете фонарика я торопливо пробиралась меж сосен, разыскивая место, где видела цаплю, но в темноте все выглядело иначе. Споткнувшись о корень, я упала. Фонарик шмякнулся о землю и выплюнул батарейки. На миг я окунулась в ужасающий мрак и подумала, что теряю сознание. А потом увидела чудо: сияющую бледно-голубую пелену, похожую на пламя газовой конфорки.

Я поднялась и пошла на свет. Он исходил от груды поваленных деревьев невдалеке. Когда я приблизилась, голубизна стала насыщеннее – необычный оттенок, яркий и вместе с тем прозрачный, как антисептик, в котором замачивают расчески парикмахеры, или как сизый отлив на сливовой коже. Светились не сами деревья, а то, что их покрывало, – грибы величиной с устричные раковины. Их шляпки были овяны бледно-голубым ореолом, и, сбитые в кучку, они ярко освещали хвойную подстилку, насекомых в рыхлой земле, забытый блокнот – пусть себе лежит и дальше. Впервые за долгие годы я вновь ощутила электрическое потрескивание в крови. Не ясность, но ее щекочущее предчувствие. Идея. Мельком увиденный дом. Остальное, я знала, в моих руках.

* * *

Зимой, когда приехал мальчик, я все еще экспериментировала с пигментом, исследуя его разноплановость. Прежде чем что-то писать, нужно было усовершенствовать технологию его изготовления и найти оптимальное соотношение со связующим; а еще у меня были серьезные опасения насчет светостойкости и долговечности. Но ничто не могло умерить мой пыл. Куикмен всегда говорил, что лучшие идеи “завоевывают наше сердце”. Это была любовь.

Изготовить пигмент было несложно, но это требовало терпения и усердия. У меня сложился особый режим: всю ночь,

до самого завтрака, – работа, после завтрака – сон, после обеда – отдых, затем ужин, а после захода солнца – снова работа. Так я жила все лето, наслаждаясь ночной прохладой, прячась от слепящего света. Так я продиралась сквозь липкие осенние вечера, первые дожди, заморозки, неожиданный снег. Но с приездом мальчика я сбилась с ритма. Я слишком охотно позволила ему отвлечь себя от цели. Состязание с Куикменом было лишь началом, их игра сильно затянулась, а я и не подумала вмешаться, предоставила им биться до победного конца, отложив работу на потом. И пусть я совсем немного отклонилась от курса, даже это отклонение было губительно.

Как только они ушли, я приступила к муторной подготовительной работе. Всю ночь мне предстояло делать образцы, а отдохнуть после обеда так и не удалось. Я закрыла ставни, опустила рулонные шторы и скобозабивателем прикрепила их к оконной раме. Достала ступку и пестик, плиту для растирания красок и курант, затем протерла стол и подвинула его на место. Вырезала еще полсотни квадратиков холста. Вымыла колонковые кисти. Надела куртку, взяла сумку, зашнуровала ботинки, подождала, пока в особняке погаснут последние огни. На веранде еще некоторое время горели лампы, потом пришел Эндер и потушил их, и прибежище погрузилось во тьму. Я не включала карманный фонарик, пока усадьба не скрылась за плотной стеной сосняка. Дорогу я знала хорошо и в зарубках, которые когда-то сделала на стволах, больше не нуждалась, и все же шла я медленно,

осторожно, зная, что если забреду слишком далеко, то выйду на каменистый утес и упрусь в открытое море. (Я бы не вынесла вида ночного моря; меня пугало то, как оно отступало и наползало в черноте, словно с каким-то тайным умыслом.)

Похоже, мне одной было известно, *что* можно увидеть ночью в лесной глуши. Каждый раз я боялась, что кто-нибудь из постояльцев заметит меня и потребует объяснений, а потому действовала украдкой. Когда воздух стал волглым, а земля – пружинистой, я поняла, что почти пришла. Я искала островок леса, где сосны росли вкось. Еще двадцать шагов, и стволы стали наклонными, а потом я вышла на небольшую поляну – проплешину, где гнили поваленные деревья, – и выключила фонарик, приглашая чудо явить себя. Бледно-голубые грибы замерцали, как звезды.

Путем проб и ошибок я выяснила, что грибы лучше всего собирать в небольших количествах. Росли и размножались они быстро, но лучший пигмент давали самые старые – лопухие, успевшие как следует откормиться. Я достала из сумки ножик и фольгу. Похрустывая суставами, я опустилась на колени в грязи и потянулась к дереву. Одно чистое движение, нож скользнул вдоль ствола – и грибы упали мне в ладонь. Промедление – и мякоть будет крошиться. Неосторожное нажатие – и она потеряет цвет. Срезав дюжину самых крупных грибов, я завернула их в фольгу и убрала в сумку.

Работа с образцами требовала полной темноты, поэтому, вернувшись домой, я плотно закрыла дверь и залепила щели

нервущейся клейкой лентой. Затем потушила угли в печке и выключила свет.

На тающий миг комната погрузилась во мрак, затем вспыхнули образцы на стене. На каждом квадратике холста проступил голубой мазок, но двух одинаковых было не найти. Одни сияли ярко и насыщенно – почти как сами грибы. Другие мерцали слабым, неровным светом – бомбейский сапфир. Слишком густой слой краски или слишком мелкий помол пигмента давали тусклый отлив, слишком большое содержание масла – стеклянный блеск. Та же голубизна лилась из швов моей сумки, и нельзя было дать ей угаснуть.

Я много экспериментировала с пигментом и связующим, хоть и с переменным успехом: (i) размолот грибы в порошок, смешивала их с магазинными масляными красками; (ii) делала из грибов отвар и, добавив туда гуммиарабик, разливала по кюветкам для акварели; (iii) растирала их с глицерином, медом, водой, бычьей желчью и декстрином, чтобы приготовить гуашь; (iv) делала темперу на яичном желтке – и тому подобное. В Портмантле рабочие материалы предоставлялись в любом количестве, а если в подсобке Эндера чего-то не находилось, это поставляли с материка. Впрочем, самая яркая краска оказалась и самой простой в приготовлении.

Сперва я выложила грибы на стол. Шляпки сияли так ярко, что можно было обойтись без света, хотя глазам всегда требовалась секунда-другая, чтобы привыкнуть. Мыть их

было нельзя, не то потускнеют, поэтому я смахнула грязь мягкой кистью и убрала влагу бумажным полотенцем. Затем нарезала грибы на ровные кусочки, не слишком мелкие и не слишком тонкие, будто готовила салат. В мастерской было так холодно, что вскоре я уже не чувствовала пальцев, а для следующего этапа как раз требовалась сноровка.

Достав из ящика большую иголку, я продела в ушко бечевку и нанизала на нее кусочки грибов. Затем завязала узелки на концах и повесила гирлянду в чулан, возле бойлера, пусть сушится вместе с остальными. (Нельзя, чтобы грибы слишком сморщились, поэтому я регулярно их проверяла.)

Другую гирлянду, висевшую там уже шесть дней, пора было измельчать. Я взяла ее в руки – она была приятно теплой на ощупь. По одной штуке я сняла с бечевки грибы, положила их в ступку и стерла в синюю пыль. На этот раз я работала пестиком еще тщательнее и дольше обычного, стараясь добиться как можно более мелкого помола. По плотности пигмент напоминал вулканический пепел. Из одной гирлянды обычно получалась чашка порошка, которой хватало где-то на сорок образцов.

Высыпав треть чашки на гранитную плиту, я проделала в горке порошка выемку и осторожно влила туда три четверти унции льняного масла. Перемешала мастихином до образования пасты. Затем круговыми движениями стала проходиться по ней курантом, пока паста не приобрела консистенцию сливочного сыра. Именно на этом этапе сияющий

пигмент становился пригодным для работы. Он легко брался плоской кистью, хорошо приставая к щетинкам. Я взяла квадратик холста и неторопливо нанесла мазок, а снизу карандашом подписала объем связующего, количество пигмента, размер грибов и, наконец, номер образца. Затем припилила на стену рядом с остальными.

Процедуру эту надо было повторять много раз: по капле разбавляя краску маслом, я делала все новые и новые образцы, пока на плите не осталось лишь голубоватое пятнышко, а руки не заныли от боли. Пересыпав остатки пигмента в старую жестянку из-под табака, я спрятала ее за шкафчиком в ванной, где у меня был тайник. С трудом я заставила себя подкинуть в печку угля и разжечь огонь. Затем рухнула на диван – прямо в грязных ботинках, с невымытыми руками и сияющей пылью под ногтями.

* * *

Проснувшись, я услышала, как с крыши на дорожку шлепается капель. Когда я оторвала клейкую ленту от двери и выглянула во двор, солнце туманной дымкой растекалось над лесом, и непонятно было, утро сейчас или ранний вечер. Среди сугробов проглядывали зеленые островки, дорожки, ведущие к особняку, были в слякоти. На веранде пили кофе двое краткосрочников – робкий парень Глак, писавший детские книжки, и гигантский итальянец в белой кожаной

куртке, создававший автопортреты из фотографий животных. (“Мне не нравится слово “монтаж”, оно слишком конкретное, – объяснил он как-то за обедом. – Я исследую множество своих ипостасей. Как я развиваю свои идеи, не имеет значения. Обсуждать процесс – это так скучно”. Петтифер промокнул губы салфеткой и сказал: “Да уж, я утомился, как только вы открыли рот”, после чего итальянец с нами больше не заговаривал.)

Приняв душ и переодевшись, я пошла к особняку. На веранде уже никого не было, Глак с итальянцем ушли, оставив на садовых качелях пустые кофейные чашки. На лестничной площадке между первым и вторым этажом возле окна стояла деревянная стремянка, а на ее верхней ступени – Ардак. Похоже, он чинил карниз; на плечах у него, точно агнец на заклание, лежала бархатная ткань. С раздернутыми портьерами зал выглядел каким-то разоренным. Дневной свет выхватывал комья пыли. Перила были сплошь в отпечатках пальцев.

Когда я проходила мимо, Ардак прервал свои труды и взглянул на меня сверху вниз.

– Что здесь произошло? – спросила я, особенно не рассчитывая, что он поймет.

– Пт-ш! – Он изобразил, как что-то разбивается, и указал на верхний переплет окна, где стояло новое стекло с еще не высохшей замазкой.

– Хорошо, что вы у нас на все руки мастер, – сказала я.

Он рассеянно кивнул.

За нашим обычным столом в одиночестве завтракала Маккинни. Из-за давних проблем с пищеварением она внимательно следила за питанием и нередко засиживалась над тарелкой мюсли после закрытия кухни. Мы всегда могли рассчитывать, что она займет нам места. Все знали, что дальний конец длинного стола у окна принадлежит нам; оттуда открывался лучший вид. Если наше место занимали другие, Тиф и Кью сурово велели им убираться. Порой мы были ничем не лучше школьных хулиганов, но за годы жизни в Портмантле мы привыкли оберегать свои удобства.

– Кто разбил окно? – спросила я с порога.

Маккинни махнула рукой вглубь столовой:

– Он пытался убить мотылька. Якобы.

В конце линии раздачи стоял Фуллертон, в фартуке и резиновых перчатках, стряхивая объедки с тарелок в мусорное ведро.

– За это он все утро помогает Эндеру по хозяйству.

Старик сновал между столами, собирая грязную посуду, и было видно, что помощнику он не рад.

Я села рядом с Мак.

– Вот чем был нанесен урон, если тебе интересно, – сказала она, придвигая ко мне тусклый медный жетон с прорезью посередине. – Ардак в саду нашел. А мотылька, кстати, никто не видел. Возможно, его стерло в порошок. – Она не отрывала взгляда от Фуллертона, который, к вящему негодо-

ванию Эндера, складывал тарелки одна в другую, перемазывая их снизу яичницей и суджуком¹⁰. – Наверное, тебе стоит с ним поговорить. Меня он не больно жалует.

Я убрала жетон в карман юбки.

– К тебе еще надо привыкнуть.

Мак поникла, ложка с молоком задрожала у нее в руке.

– Одно я тебе скажу точно. С его приездом я стала гораздо чаще думать о дочках. Конечно, они уже взрослые. И все же... Мне трудно на него смотреть. Как он стоит, как двигается. С ним я чувствую себя старой.

– Мы и правда старые, – сказала я.

– Ой, я тебя умоляю. Я обогнала тебя на пару десятков лет. – Мак ткнула ложкой в мюсли. – Ты только подумай. Если вчерашний школьник настолько выгорел, что его сюда отправили, на что же надеяться нам?

– У каждого свои трудности.

– Может, и так. Но я в тупике. И вообще я уже давно забыла, в чем смысл.

– Смысл чего?

– Вот этого. Жизни здесь. – Она собиралась что-то прибавить, но тут с тележки Эндера с грохотом посыпались тарелки. Старик стоял посреди зала, разглядывая осколки, будто случившееся противоречило законам физики.

Фуллертон кинулся на подмогу:

¹⁰ Суджук – традиционная турецкая колбаса из баранины или говядины с пряностями.

– Давайте я. – Он присел на корточки. – У вас есть веник?

– Уходите! – сказал Эндер. – Это не ваша работа. Я сам подмести.

– Да мне не трудно. Чесслово.

– *Çik! Git burdan!*¹¹

Повисло долгое молчание.

Фуллerton встал, сорвал с рук перчатки и выпутался из фартука. С саркастическим поклоном протянул все это старику. Потом, заметив меня, с обиженно-извиняющимся видом побрел к нашему столику.

– Что с ним такое? Я же ничего не сделал.

Он взял кувшин с молоком, стоявший перед Мак, и припал к нему губами. На шее у него перекатывался чрезмерно выпирающий кадык. Фуллerton явно несколько дней не брился: над верхней губой проступала легкая щетина, а на щеках – одуванчиковый пушок, и выглядело это немного жалко. Пока он пил, челка откинулась со лба, обнажив блестящие розовые прыщики. Похоже, он всю ночь не спал. Он был какой-то хрупкий, дерганый.

– Ты что, так и не ложишься? – спросила я.

Он вытер рот рукавом фуфайки. Она была мешковатая, в черно-желтую полоску.

– Ну что вы, не мог разлепить глаза.

– Прости, если мы тебя задержали. Куикмен у нас человек азартный.

¹¹ Вон! Убирайся! (*тур.*)

– Вы тут ни при чем, – фыркнул мальчик и с такой силой поставил кувшин, что тот покачнулся, словно кегля. – У меня теперь весь день уйдет только на то, чтобы в голове прояснилось. Я со сном не дружу.

– Да ладно? – сказала Мак. В тарелке у нее скопилась целая гора изюминок, выловленных из мюсли, и теперь она помешивала их пальцем. – Попробуй пялиться в потолок каждую ночь своей жизни, а потом уже рассказывай, как ты не любишь спать. Я бы с удовольствием поменялась с тобой местами.

– Поверьте, – вздохнул мальчик, – вы бы не захотели видеть мои сны. – Он наклонил голову вправо, затем влево, чтобы хрустнули позвонки. Фуфайка задралась, обнажив резинку трусов и аккуратный, точно узелок воздушного шарика, пупок. Затем безмятежно поинтересовался: – А Куикмен придет?

Мак бросила на меня взгляд. Словно желая научить мальчика терпению, она сняла очки и стала протирать стекла. Без них ее лицо казалось каким-то желтушным.

– Куикмен, дай-ка подумать... С ним никогда не знаешь наверняка.

– Это правда, – сказала я. – Но обед он точно не пропустит.

– Ладно, если увидите его, передайте, что я его искал.

– С радостью, – ответила Мак, задвинув очки на место.

Мальчик апатично помахал двумя пальцами, будто сидел

на скучном собрании и соглашался с решением большинства.

– Тогда до встречи. – Он вышел из столовой и закрыл за собой дверь.

* * *

Зима выдалась такая суровая, что мы ни разу не забирались на крышу особняка, зная, что из-за снега и льда это будет опасно. Но тем утром я не видела иного способа утешить Мак. По моему настоянию мы поднялись на чердак, под стропила, и открыли люк, выходящий на небольшой выступ, где могло поместиться два-три человека. Мак медлила, но я убедила ее, что бояться нечего.

– Тут просто небольшая лужа, – сказала я, ступая на черепицу. – Но совсем не скользко.

Отряхивая паутину с колен, Мак вылезла из люка. При первом же взгляде на море она шумно выдохнула. Казалось, она успокоилась, оправилась. Долгое время она молчала, словно вбирая в себя пейзаж. Ослепительно ярко сияло солнце. Повсюду в замедленном темпе чернильную воду прорезали паромы, для которых не существовало ничего, кроме маршрута по островам. Почти все дома дремали под коркой снега, лишь несколько прядей дыма струились из труб вдалеке. На плацу перед военно-морской академией не маршировали курсанты, кафе на променаде были пусты.

С нашей обзорной площадки видны были и часовая башня греческой православной церкви, и фигурки лошадей в загоне по ту сторону залива; старая духовная семинария на вершине северного холма была вписана в узкую дугу света, похожую на луч прожектора, направленный из облаков. Я надеялась, что здесь Маккинни вновь почувствует, какая это удача – быть в Портмантле, парить над миром в отчуждении. Нам полезно было помнить, что шестеренки мира никогда не останавливаются, что история нас уже почти забыла. Но Мак скрестила руки на груди и сказала:

– Не знаю, сколько еще я смогу здесь прожить.

Я подошла к парапету и взглянула на крышу веранды, поросшую мхом, на отгаивающие сады, на домики-мастерские. Трудно было понять, что у Мак на душе. Мы так привыкли подбадривать друг друга в минуты уныния, что даже шутили на этот счет. “Пойдешь со мной делать подкоп?” – бывало, спрашивала я; а, застав Маккинни за рисованием узоров на салфетке, могла услышать: “Планирую наш побег”. Но теперь на смену ее обычному беспокойству пришло нечто большее – глубокое переживание, до которого мне было не дотянуться, и никакие дежурные шутки уже бы не помогли. У меня мелькнуло подозрение, что ее тоска как-то связана с мальчиком.

– Назови мне хотя бы одного человека здесь, которому все это не осточертело, – сказала я. – Надо работать во что бы то ни стало.

– А я тут, значит, прохлаждаюсь?

– Я этого не говорила.

– Чего я только не пробовала. Все тщетно. Я даже ремарку не могу написать, не подвергнув сомнению каждое слово. Рано или поздно придется сдаться. Я не способна выдать больше ни одной пьесы. Если когда-то у меня и был талант, его давно уже нет.

– Просто пиши то, во что веришь.

– Серьезно? И это твой совет?

– Я не знаю, что еще тебе сказать.

По ступенькам веранды спустился Ардак со стремянкой под мышкой и зашагал к сараю. Перекладыны лестницы отбрасывали на залитую солнцем лужайку движущиеся тени, и на мгновение я забыла, где нахожусь.

– Нелл, ты вообще слушаешь?

Мак, прищурившись, наблюдала за мной.

– Конечно.

Это мелькание напомнило мне о гармонии в пыльном закутке под маминой кроватью, о пружинистой тяжести в моих руках, о том, как переливался металл на свету, когда я ее доставала.

– Значит, ты не против? Я уже не могу судить объективно, но, по-моему, это единственная стоящая вещь.

– Ты о чем?

– О сцене, которую я сейчас описывала. О монологе. Господи, Нелл, ты же стояла и кивала. Ты что, ничего не слы-

шала?

Я извинилась, и она как будто успокоилась. Если бы я чуть раньше поняла, как много пропустила мимо ушей, я бы честно в этом призналась.

– Прости. Не надо было подниматься сюда на пустой желудок.

У меня путались мысли.

– Тогда пошли обратно, – предложила Мак. – Возьмем са-лепа¹² и посидим у меня в комнате. Там и считаешь мою сцену. Она не длинная.

Как только я спустилась, мне сразу полегчало. На чердаке приятно пахло опилками, стены были ободряюще близко.

– Разве не лучше показать ее Кью или еще кому-то из писателей? – спросила я. – Не знаю, правильно ли это – мне читать твою работу. Лучше не нарушать заведенных порядков.

Мак приобняла меня за плечи.

– Куикмен только привнесет в свое прочтение некоторый – как бы это назвать – *интеллектуализм*, а мне сейчас нужно совсем другое. Я хочу простого эмоционального отклика. А этим краткосрочникам я и словечка из своей пьесы не доверю. – Она легонько сжала мое плечо. – Ты идеальный читатель: ты знаешь мою историю. Не будь все так плохо, я бы к тебе не обратилась.

¹² Салепа – густой и сытный молочный напиток с ароматом ванили из перемолотых корневищ диких орхидей. В Турции его традиционно пьют в холодное время года.

По пути мы остановились у входа в столовую, где стоял медный чан с горячим салепом. Директор очень любил этот тонизирующий зимний напиток, полюбили его и мы. Мак наполнила две чашки, и мы двинулись по коридору, мимо дверей других постояльцев, за которыми шелкали печатные машинки. Этот коридор вечно полнился производственным шумом – радостным гулом автоматизируемых мыслей, и прежде эти звуки грели мне душу.

– Ты только послушай, – сказала Мак. – Знай себе печатают. Глядишь, скоро домой отправятся.

– А это разве плохо?

– Для них, может, и нет.

В ее комнате была намеренно спартанская обстановка: по-больничному заправленная узкая кровать, бюро с аккуратнейшей стопкой машинописных листов, дубовый шифоньер, строгий и внушительный, как гроб. Нам не запрещалось привозить с собой фотографии родных, но выставлять их на показ было не принято; Мак наверняка припрятала где-то в комнате снимки своих дочерей, а вечерами нежно водила пальцами по их лицам.

Под окном, на тахте, лежал чемодан из дубленой кожи, с которым она приехала в Портмантл много сезонов назад, крышка всегда была откинута, брюхо набито книгами в твердых переплетах, уложенными в идеальном порядке, с ленточками вместо закладок. Все ее вещи были разложены по строгой, одной ей известной системе. Лишь походная плит-

ка и кофейник – предоставленные по ее просьбе директором – носили отпечаток постоянного использования; черные, в пятнах кофе, они хранились в углу у двери, под кухонным полотенцем.

Поставив чашку на бюро, она вынула верхний ящик и отнесла его на кровать.

– Знаешь, я передумала, – сказала она, копаясь в ящике. – Лучше не читай, пока я стою у тебя над душой. Это будет мука для нас обеих. – Листы поникли в ее вытянутых руках. – Держи, единственный экземпляр. Я бы сказала, не потеряй, но, чувствую, он все равно отправится в камин.

Листы были немного засаленные. Каждая страница исписана опрятным почерком Мак – прямые буквы не выходят за линии, подобно крупным птицам, что теснятся в клетках. Не меньше четверти текста было аккуратно зачеркнуто черной ручкой – как и большинство ремарок на полях.

– Просто... Скажи, есть ли там что-то стоящее.

– Хорошо.

– До ужина справишься?

– А к чему такая спешка?

– Говорю же, я не знаю, как долго здесь пробуду.

На крыше в голосе Мак было столько тоски, что я решила, будто она снова досаждает на Портмантл, снова взвешивает свои достижения и сожаления. Но теперь по настойчивым интонациям, по нетерпеливому постукиванию ноги о пол я поняла, что дело в другом. Она покидает нас – и не

по своей воле.

– Что случилось? Они хотят тебя выселить?

– Тсс! Дверь закрой.

Я плотно затворила дверь. После салепы во рту вдруг стало гадко, как от прокисшего молока. Без гулких звуков коридора комната стала похожей на келью. Казалось, во всем мире кроме нас ни единой живой души.

– Я ничего не знаю о твоём спонсоре, – сказала Мак. – Расскажи о ней.

– Что?

– *Расскажи о ней.*

– О нем.

– Серьезно? Это мужчина? – Она вскинула брови. – Не знаю почему, но я ожидала от тебя большего.

– Я его не выбирала.

– Он старше тебя?

– Да.

– И намного?

– Порядочно, лет на десять.

– Вот это плохо. А с физкультурой он дружит?

– Ой, по-моему, он никогда не увлекался спортом. – И тут до меня дошло. – С твоим спонсором что-то не так?

– Уже нет. – Долгий выдох, будто она проверяла объем легких. – Но нельзя ведь курить по две пачки в день и ждать, что будешь жить вечно.

Маккинни отнесла ящик к бюро и вихляющими движе-

ями вставила его на место.

– Ей было семьдесят три. Неплохо, в общем и целом.

– Господи, Мак. Кошмар какой.

– Ничего. Жаль только, меня не было рядом. – Едва слышно она добавила: – Если бы не эта женщина, я бы до сих пор у дяди работала. Пекла бы булочки за пару шиллингов в час. Она меня вытащила. Поверила в меня.

– И никогда не переставала верить, – сказала я.

– Вот уж не знаю. Я думала, она первая прочтет мою пьесу. А теперь ее не стало. Такое чувство, будто я ее подвела.

– Она бы тебе сказала, что это полная чушь.

– Я здесь уже бог знает сколько, а так ничего и не сделала. Что говорит само за себя. – Мак провела ногтями по волосам и сгребла их на одну сторону. – Не знаю, сколько мне еще позволят здесь жить. Ее адвокаты забрасывают попечительский совет письмами, спрашивают, на что выписаны чеки. Нет, ты представляешь? Жалкие стервятники.

– И давно ты узнала?

– На днях. Я не должна была никому рассказывать, пока не вернется директор. За этим он и уехал – поговорить с попечителями, – но, сдастся мне, ничего не выйдет. Меня отсюда выпрут.

– До этого не дойдет.

– У них на все случаи жизни есть правила. Сама знаешь, какой у нас директор – бюрократ до мозга костей. Если имеются прецеденты, он их найдет.

– Господи, Мак. У меня нет слов...

Она с улыбкой указала на ворох бумаг у меня в руках:

– Ничего не говори. Просто прочти, ради меня. Скажи мне, что там есть хотя бы одна стоящая фраза, иначе мне и правда здесь не место.

* * *

В библиотеке сидели краткосрочники – пятеро, все с книгами, – и, когда я вошла, четверо из них подняли головы. Испанский поэт, по-турецки устроившийся на диване с энциклопедией в руках, меня словно бы не заметил – только хмыкнул, когда за мной закрылась дверь.

Во всем особняке не нашлось ни единого свободного закутка: в вестибюле еще какие-то краткосрочники робко переговаривалась по-французски, при виде меня они сгрудились и перешли на шепот; на веранде складывала простыни Гюльджан; у крыльца колол дрова Ардак, швыряя поленья в садовую тачку. Даже в небе было тесно – из-за птиц и запутанных шлейфов самолетов.

Считая своим долгом разглядеть в рукописи потенциал, я пошла читать ее у себя в мастерской. Наша четверка никому не показывала свои работы, даже друг другу, и на то была веская причина. Мы слишком много времени отдали Портмантлу, слишком многим пожертвовали в поисках ясности, чтобы сомневаться в том, что завершим начатое, что оди-

ночество и жертвы были не напрасны. Нам было комфортно внутри созданного нами пузыря, мы говорили себе, что одобрение окружающих – это костыль. Для этого мы и приехали в Портмантл – избавиться от постороннего влияния и чужого мнения, быть самими собой. Мы нарочно пропускали чтения и представления отбывающих гостей, не посещали кружки и сборища, плодившиеся с приходом лета, как сорняки. Конечно, каждому из нашей четверки было любопытно, чем заняты другие, и в общих чертах нам это было известно: Петтифер работал над своим собором, Куикмен – над своим грандиозным романом, Маккинни – над своей великой пьесой, а я – над панно для своего заказчика, но мы никогда не выспрашивали подробностей, не преступали установленных границ. Только наши неоконченные творения и принадлежали нам по-настоящему, и показать их миру значило их извратить. Когда Куикмен допишет свою книгу, мы с радостью возьмем ее в руки. Когда Петтифер построит свой собор, мы встанем бок о бок и вместе подивимся ему. А до тех пор будем поддерживать друг друга, двигаясь к одной цели.

От отчаяния Маккинни нарушила наш негласный договор. Мне было страшно читать ее рукопись. Вряд ли это будет беспомощная невнятица, но вдруг ее работа, подобно картинам в моей мастерской, профессиональна, но безжизненна, ничем не примечательна? Устроившись на кровати, я нехотя приступила к чтению:

УИЛЛА (*шепотом*): Нет, проблема в том, что я люблю тебя сильнее. (*Она спускается с последней ступеньки, чтобы утешить Кристофера. Кладет руку ему на спину, он отстраняется.*) Послушай. Я много думала. (*Пауза – Кристофер поднимает голову.*) До встречи с тобой я так долго была одна, что выработала целую систему, понимаешь, чтобы превратить это одиночество во что-то хорошее. Вся моя жизнь сводилась к живописи. Вся близость исходила оттуда – от холста с кистью и воображения. Во многом живопись была мне как муж. Я была преда-на ей, проводила с ней все свободное время, засыпала с мыслями о ней. Когда у тебя в жизни есть нечто подобное, что ж, наверное, ты не тоскуешь по тому, чего лишена, – можешь ли ты это понять? Живопись спасала меня, когда у меня ничего не было. (*Уилла садится рядом с Кристофером, он не сопротивляется.*) Потом я встретила тебя... (*Она легонько касается коленом его ноги.*) Стоит полюбить мужчину сильнее, чем ты любишь творчество, – и пиши пропало, чувство близости исчезает навсегда. И, как бы ты ни старалась, его уже не вернуть. На смену ему приходит другое чувство, гораздо лучше. (*В ответ на замешательство Кристофера.*) Не смотри на меня так, я тебя ни в чем не обвиняю. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что у меня на душе. В общем, я никогда уже не буду писать, как прежде. Я всегда буду как потерянная. (*Уилла берет Кристофера за руку, он не реагирует.*) Раньше, когда я писала, я отдавалась живописи всем сердцем, но теперь это

невозможно, мое сердце выбрало тебя. В нем не поместится все и сразу, и мне надо с этим свыкнуться, но я не могу. Ты любишь говорить, что я слишком тоскую по прошлому, и ты прав, отчасти это так. Я тоскую. Всегда. Но вот чего я никак не пойму: как я могу скучать по одиночеству? Как я могу скучать по несчастью? (*Долгая пауза.*) Я знаю, это ничего не меняет. Я же не дура. Может, ты с самого начала был прав – может, этого я всегда и хотела. Но я не жалею, что влюбилась в тебя, Кристофер. Как можно о таком жалеть? Ты лучшее, что было у меня в жизни.

Подождав, Кристофер медленно встает.

КРИСТОФЕР: Зато я жалею за нас двоих.

Мне не с чем было сравнивать этот отрывок. Сценариев я никогда не читала, серьезных пьес, помимо Шекспира, посмотрела немного, можно по пальцам пересчитать. Я не критик и не писатель. Но я с первых строк прониклась к Уилле сочувствием, а это, по-моему, самое важное, чего могла добиться Мак. Наверное, диалог мог быть стройнее, а действие не таким статичным, наверное, сцена вышла чересчур сдержанной или, напротив, недостаточно сдержанной – не мне судить о таких вещах. Главное, что герои Мак были настоящими, наталкивали на размышления о вещах, о которых прежде я не задумывалась. Я вздохнула с облегчением.

Между тем уже прошло полдня, а я еще не навела порядок в мастерской. Все махистины так и валялись в раковине, невымытые. Плита и курант, в корке высохшей краски, лежа-

ли на столе. Все поверхности надо было протереть. Кое-где виднелись пятна порошка – при свете дня пигмент был белым, как мука, но, если не смыть его с дерева, он впитается в волокна и будет слабо мерцать по ночам. В такие минуты мне очень недоставало помощника.

* * *

Мальчик сидел у своего домика на перевернутом ящике. В той части усадьбы все было залито солнцем, но он умудрился найти маленький клочок тени на углу. Спиной к бетонной стене, колени подтянуты к груди, он что-то корябал на длинной полоске бумаги, свободный конец которой болтался у его ног. Похоже, я застигла его в пылу вдохновения, но поворачивать назад было уже поздно.

Зажав жетон между двумя пальцами, я, как белый флаг, подняла его над головой. Я не собиралась ничего говорить, но, завидев меня, он прервался:

– Чего вам нужно?

– У меня для тебя посылка.

Я бросила ему жетон, рассчитывая, что он его поймает. Жетон упал на бетонную дорожку и покатился к его ногам. Мальчик прихлопнул его сапогом.

– В следующий раз, когда испугаешься бабочки, сделай одолжение, кинь в нее подушкой.

– Это был мотылек, – сухо сказал он. – И я их не боюсь.

Теперь я разглядела, на чем он писал, это была стопка карточек, соединенных клейкой лентой. Когда он встал, стопка растянулась, как меха у гармошки. Он положил карточки на ящик и секунду-другую изучал жетон, поднеся его к свету. Затем большим пальцем катапультировал его в мою сторону.

– Спасибо, но у меня уже есть.

Я подхватила жетон в воздухе.

– Это твой, ты сам его бросил. Ардак его потом подобрал.

– Нет, мой вот он. – Порывшись в карманах джинсов, мальчик достал еще один жетон и показал его мне на ладони, новенький и блестящий. – Теперь верите?

– А этот тогда чей?

– Спросите у кого-нибудь еще. – Он оттащил ящик на два шага в сторону и задвинул в самую темень. Затем вновь сложил карточки в стопку и стал пролистывать большим пальцем, как страницы кинеографа. – Знаете, Нелл, я начинаю понимать, почему вы отсюда никак не уедете. Вы так часто ходите в гости, что на живопись просто не остается времени.

Он явно хамил мне, чтобы поскорее от меня отделаться. Я сама использовала эту тактику с краткосрочниками.

– Я работаю по ночам.

– Как мотылек. – Он попытался улыбнуться. – Нет, честно, я их не боюсь. Я просто ненавижу этих мелких тварей, как они двигаются. Ненавижу вытряхивать их из абажуров. Ненавижу наблюдать за их поражениями. Проще сразу их прихлопнуть, чтоб не мучились.

– Ты непростой юноша, – сказала я.

– Сам знаю.

Фуллертон снова уселся на ящик и раскрыл гирлянду карточек с пожелтевшей клейкой лентой на обороте. Сгорбившись, он продолжил работу, будто и не прерывался. Его рука двигалась машинально, скользя по карточкам слева направо, сверху вниз. Когда одна карточка была заполнена, он передвигал гирлянду и переходил к следующей, потом к следующей и так далее. Ни разу не опустил он глаза на бумагу. Его взгляд был устремлен в пространство между домиками и голыми гранатовыми деревьями. Я могла лишь дивиться его работоспособности.

Поначалу он не обращал на меня внимания. Ручка мелькала над бумагой, клацая, как вязальные спицы. Карточки аккуратной стопкой складывались между его ступней. Затем он сказал:

– Вы весь день на меня глазеть будете?

Хотя я уже привыкла к его прямоте, он запросто мог выбить меня из колеи. За работой он представлял собой завораживающее зрелище: сосредоточенность, схлестнутая с отстраненностью.

– А гитара тебе разве не нужна? – спросила я.

Он склонил голову. Затем вздернул подбородок, закусив нижнюю губу. На секунду прикрыл глаза.

– Так, – сказал он, – теперь вы точно меня раздражаете. – И принялся обеими руками складывать карточки, буд-

то поднимая якорь. – Забавная штука: я как раз только что вспоминал деда. Он любил читать в газетах про наркоманов и себя накручивать. Он считал, что самый верный способ им помочь – это запереть их всех в одном большом доме с отборнейшим героином и чистыми иглками; ни еды, ни телека, ни воды, ни прогулок, только героин двадцать четыре на семь, высший сорт, в любых количествах. И спустя неделю половина умрет от передоза – невелика потеря, говорил дед, – а вторая половина так пресытится, что никогда больше не возьмет в руки иглу. У них зависимость от погони, считал он, бедный старик. От образа жизни. Тупо, да?

– Есть немножко.

– А забавно тут вот что. Я с вами всего два дня, и уже начинаю думать, что не такой уж он был чокнутый.

Стуча подошвами по бетону, мальчик сделал пять быстрых шагов мне навстречу.

– Не улавливаю сути.

Он снова перелистнул карточки большим пальцем.

– Поэтому мы тут и собрались. У нас зависимость от самого *процесса*, от борьбы, от быта. Наш наркотик – не результат. Понимаете, о чем я?

– Отчасти, – сказала я. – Но я не считаю, что живопись – это зависимость. Скорее, борьба за выживание.

Мой ответ явно произвел на мальчика впечатление.

Он покосился на стопку карточек и кивнул, будто одобряя какой-то незримый план. Затем протянул их мне:

– Нате, взгляните, если хотите. Будем считать, я с вами в расчете.

– В расчете за что?

– За вашу доброту. Знаю, со мной нелегко. – Но стоило мне потянуться за карточками, как он отдернул руку, словно лишая ребенка мороженого. – Да шучу я, – хмыкнул он, сунув их мне.

Всего карточек было несколько сотен, и они оказались на удивление тяжелыми. Пока я просматривала их, мальчик стоял рядом и шумно дышал. За исключением последних двадцати-тридцати, которые оказались пустыми, каждая карточка была покрыта загадочными иероглифами.

#####

– Ну? – сказал он, протягивая руку. – Каков вердикт?

Я вложила карточки ему в ладонь. Он смотрел на меня с тем же невинным видом – голова склонена набок, – с каким хвастался о турнирах с киприотами.

– Японский тоже по книжке с картинками выучил?

– Типа того. – На шее у него билась жилка, вжимаясь и выпячиваясь, точно переключатель. В тени видно было, как лоснится его лицо, неловкий подростковый блеск. – Это довольно сложный язык, – сказал он. – Ни слова не понимаю.

– Не ври.

Он помотал головой:

– Я не вру.

– Откуда ты тогда знаешь, что пишешь?

– А я и не знаю. Я просто записываю, а вопросы задаю потом. – Он пожал плечами, признавая свою чужаковатость. – Не поручусь, конечно, но на этот раз похоже на настоящий японский. У меня на одну нормальную фразу десять карточек с белибердой.

– Так откуда все это берется?

Он постучал пальцем по лбу:

– Какие-то вещи просто оседают у меня в голове.

– Как с нардами.

– Да, типа того. – Наверное, в моих словах ему слышался вызов. Отступив назад, он продолжил: – Если я не запишу иероглифы, пока они свежи в памяти, картинка распадется на мелкие кусочки. Тогда попробуй их собери. Доходчивей объяснить я не могу.

– Попроси Куикмена, пусть он тебе переведет. Он целую книгу написал про... – Я осеклась, осознав, что мальчик меня опередил. – Японию, – ненужно договорила я. – Но ты и так это знаешь.

Теперь он держался более расслабленно.

– Вряд ли он согласится мне помочь. После вчерашнего-то. Можно было не просить вас его искать.

– Ой, на этот счет не беспокойся. Кью подолгу не обижа-

ется. Хотя ты и разнес его в пух и прах. – Звучало не очень убедительно. – А давай ты сядешь с нами за ужином? Тогда и попросишь. Или могу я.

– Посмотрим, – сказал мальчик. – Мне много чего нужно доделать.

– Нельзя все время пропускать приемы пищи. Это вредно для мозга.

– В еде я привередлив.

– Ну, сегодня понедельник, значит, скорее всего, будет карныйрык.

– Я даже не знаю, что это.

– Вот теперь ты заговорил как настоящий англичанин. Фаршированные баклажаны. В исполнении Гюльджан очень вкусно. Занять тебе место?

– Ладно. Но не обещаю, что приду.

– А я пока поднажму на Куикмена.

– Спасибо.

– Только скажи мне одну вещь, не то я не успокоюсь. Ты правда музыкант?

Мальчик усмехнулся.

– Всегда хотел им стать, – ответил он, возвращаясь к ящику. – Но нет, я здесь не за этим.

Со вздохом он сел, развернул гирлянду карточек у себя на коленях и подул на кончик ручки. Затем уставился на меня и не отводил взгляда, пока я не ушла.

Куикмен положил себе в тарелку риса с карньярыком и прошел к следующему прилавку. Запустив руку в корзинку с хлебом, он достал четыре толстых ломтя и сложил их у себя на подносе, как фишки в казино. Пятый он предложил мне, но я помотала головой.

– С чего это парень взял, что я такой эксперт? – спросил он, кладя ломоть поверх остальных. – Если бы моей специальностью были языки, я бы сейчас переводил Бальзака, а не копался в собственном дерьме. Айрана не хочешь? (Я снова помотала головой. Один только Куикмен мог пить эту гадость – вязкий йогурт со вкусовой палитрой физраствора.) Ничего ты не понимаешь. Поначалу солоновато, да, но к этому быстро привыкаешь. Очень полезно для пищеварения.

– Уж лучше изжога, – сказала я. – Подай, пожалуйста, сок. Он передал мне графин и, пока я наливала сок, прищурившись, смотрел на наш стол.

Я знала, почему мальчик хочет обратиться к Куикмену, но как же объяснить это самому Кью? Много лет прошло с тех пор, как я перевернула последнюю страницу “Накануне дождя”. Сюжет и герои до сих пор не изгладились из памяти, потому что это была одна из тех редких книг – безошибочных, не дающих покоя, – которые оседают в подсознании и пускают корни. Такой серьезный, одинокий мальчик, как

Фуллerton, не протянул бы без нее в подростковый период. Но как заговорить о книге с Куикменом? Даже намекнуть на ее существование значило бы признать, что до Портмантла у него была другая жизнь, насильно вернуть его в действительность, от которой он отрекся.

“Накануне дождя” – история безымянной школьницы, чьи каникулы прерываются появлением гостя из Японии, старого знакомого ее отца по имени Дзюнъитиро. Лето 1933 года. Дзюнъитиро, уважаемый профессор математики из Нагои, приехал в Англию в рамках лекционного турне, организованного отцом героини, – приехал с необычным заявлением. Старик утверждает, что вывел формулу, способную предсказывать, в какое время в любой точке планеты пойдет дождь; по его мнению, эти сведения сыграют решающую роль в развитии сельского хозяйства и мировой экономики в целом. Он готов раскрыть формулу национальным правительствам – с некоторыми оговорками. Дзюнъитиро плохо говорит по-английски, и отец девочки – лингвист, преподающий в Оксфорде, – выступает в роли переводчика. Все летние каникулы девочка сопровождает отца, путешествуя от одного университета к другому на машине, поездом, по морю. В каждом лекционном зале Дзюнъитиро вешает листок с прогнозами дождя, которые впоследствии сбываются. Его заявления приобретают вес и привлекают внимание прессы. Университеты уже не справляются с наплывом зрителей, и турне решено продолжить в театрах Ирландии, Франции, Гер-

мании и Америки. Несмотря на щедрые предложения частных компаний, Дзюньитиро отказывается раскрыть формулу. Газетчики предполагают, что он выставит ее на аукцион. Дзюньитиро говорит отцу девочки, что раскроет формулу, только если правительство США согласится прекратить разработку ядерного оружия. Они встречаются с американскими госслужащими, но те отрицают, что ядерная программа существует. Ночью накануне лекции в Мюнхене Дзюньитиро похищают из гостиницы, и он исчезает навсегда. Несколько месяцев спустя отец героини умирает при подозрительных обстоятельствах, от отравления, и ее отсылают к тетке в Девон. В последующие годы – годы войны и мира – она пытается выяснить, что произошло с Дзюньитиро и ее отцом, но безрезультатно. И вдруг однажды в архивах колледжа, где работал ее отец, обнаруживается старая фото пленка, а на ней – записи японца. Героиня, к тому времени уже сама преподаватель математики, проявляет негативы, изучает записи и понимает, что формула верна. Но мир изменился, потускневший и подточенный войной. Поэтому, вместо того чтобы обнародовать формулу или объявить, что она нашлась, героиня отбеливает пленку, сжигает снимки и – финальный поэтический штрих – выходит под дождь снимать с бельевой веревки одежду мужа.

Куикмен редко обсуждал с нами свое творчество, и, если бы я без приглашения полезла к нему с расспросами, от этого пострадала бы наша дружба. Пока мы несли подносы к сто-

ду, я пыталась придумать, как бы завести речь о Японии, не упоминая его книгу. Но в итоге выпалила первое, что пришло на ум:

– Слушай, чисто гипотетически, если бы кто-нибудь показал тебе письмо от приятеля из Японии, смог бы ты подтвердить, что оно и правда написано на японском, а не на корейском или каком-нибудь другом языке?

Куикмен шел впереди.

– Что?

– Я вот, например, не отличила бы друг от друга все эти азиатские письма. Ни разу в жизни не бывала на Востоке. Иероглифы такие сложные, а их еще и так много... Наверное, пришлось бы...

– Хватит, Нелл, – сказал он. – Я вижу, что ты делаешь, и очень прошу тебя, прекрати. Немедленно.

Он сел рядом с Петтифером, который подчищал хлебной коркой свою тарелку из-под карныарыка. За окном сгушались сумерки, и столовая мрачно поблескивала огнями свечей.

Я притихла.

– На что она тебя подбивает? – спросил Петтифер, ухватившись за концовку разговора. Он перевел взгляд на меня: – Дай-ка угадаю, парень снова не дает тебе покоя?

– А ты не лезь куда не просят, – ответила я.

Куикмен сорвал фольгу со стаканчика с айраном и сделал глоток. Млечно-белая пленка осела у него на усах.

– Одного не возьму в толк, – сказал он, промокнув губы салфеткой. – Почему ты считаешь, что обязана помогать этому юнцу? Он даже не соизволил явиться на ужин. Не говоря уже о том, что прикарманил зажигалку моего отца. Кстати, я хотел бы ее вернуть. Но сейчас не об этом. Не надо впутывать меня в чужие творческие проблемы. У меня и своих достаточно.

– Он совсем ребенок, – сказала я. – Видел бы ты его: списывает карточку за карточкой и даже не знает, на каком языке. Ты мог бы хотя бы подтвердить, что это японский.

– Оставь его в покое, – сказал Куикмен, нарезая еду у себя на тарелке. – Он ведь сюда за этим приехал.

– Покой тоже бывает разным.

– Ах да. Как я мог забыть. Классификацию не напомнишь?

Петтифер подался вперед:

– Я сам немножко кумекаю по-японски.

– Дело в том, Кью, что ему всего семнадцать, а в таком возрасте человеку нужно с кем-то... – Я так привыкла не обращать внимания на ремарки Тифа, что до меня не сразу дошел смысл его слов. – Что, прости? Ты сейчас сказал, что знаешь японский?

Петтифер вскинул брови.

– Вроде того. Во всяком случае, я умею читать хирагану. С кандзи у меня туговато, но в общих чертах я смогу объяснить ему, что там написано.

Я так обрадовалась, что готова была его обнять.

– Тиф, ах ты моя умница! А я и не сообразила у тебя спросить!

– Это все моя красота. Она так ослепляет, что люди не в силах разглядеть за ней недюжинный интеллект.

– Ну разумеется!

Я послала ему воздушный поцелуй.

Куикмен с интересом включился в беседу. Отложив вилку, он пытливым взглядом взглянул на Тифа и спросил:

– *Doko de nihongo wo narattandai?*

Петтифер задумчиво кивнул.

– *Nihon de shibaraku hatarakimashita.*

– *Dākuhōsu dana.*

– *Chigauyo. Futotta buta dayo.*

– *Sōdana!*¹³

Было странно слушать, как знакомые люди говорят на незнакомом языке.

– Ну все, решено, – сказала я. – Вы оба ему поможете.

Куикмен вонзил вилку в карныйрык.

– Сначала пусть вернет зажималку.

– Предложи ему сделку.

– Отец умер, сжимая ее в руке. Нельзя было ее ставить.

– Ты всегда можешь ее отыграть.

¹³ “Где ты выучил японский?” – “Я какое-то время работал в Японии”. – “Это темная лошадь”. – “Неправильно. Это потолстевшая свинья”. – “Действительно!” (яп.)

– И отыграю. Сперва только подшлифую стратегию.

– Эй, ребят. Вы только посмотрите, – сказал Петтифер, указывая на линию раздачи. – Мак снова разговаривает с этими проходными. Надо ее спасать. (Маккинни беседовала с Глаком – не такая уж беда, если бы рядом не вертелся противный испанец.) Мне кажется или она отлично проводит время?

И правда: Мак смеялась. И не привычным сухим смехом, а чудесным, заливистым хохотом, какого мы не слышали уже давно. Я была рада, что она воспрянула духом, даже несмотря на эти ее расшаркивания перед краткосрочниками.

– Ну и ну, – сказал Куикмен. – Куда мы катимся...

Несколько минут спустя, все еще с легким румянцем, Мак подошла к нашему столу. Она села, и из носа у нее вырвалось облачко остаточного смеха.

– Господи, это было уморительно, – сказала она. – Вы знали, что Линдо мастер пародий? Давно я так не смеялась.

– Мы даже отсюда слышали, как ты гогочешь, – сказал Куикмен.

– А кто такой Линдо? – спросил Петтифер со своим фирменным смешком.

– Испанец. Он вообще-то душка. Рано мы его списали со счетов.

– А знаешь, ты права, – сказал Куикмен. – Мы ведь давно искали хорошего комедианта.

– Хочешь дуться? Пожалуйста. – Она поправила очки на

носу. – Видел бы ты его пародию на тебя.

– Не сомневаюсь, что она чудо как субверсивна.

Мак фыркнула. Она сидела на стуле боком, будто еще не решила, останется ли за нашим столом.

– Нелл, ты просто обязана увидеть его Куикмена. Как он бормочет со сжатыми губами, будто у него трубка во рту! Просто гениально!

В горле у нее снова забулькали пузырьки смеха.

– Здорово, – глухо отозвалась я.

– Да что с вами такое? Расслабиться не пробовали? Перестаньте уже быть такими циниками, глядишь, и полегчает.

Она встала и потянулась к тарелке Куикмена за кусочком хлеба.

– Возьми себе сама, – сказал он, отодвигая тарелку.

Мак в задумчивости помедлила в конце стола.

– А знаете, Линдо скоро уезжает. Он почти закончил сборник.

– Какой молодец, – ответил Кью. – Недолго же он тут пробыл.

– Он сказал, что устроит чтения. Давайте сходим? Приятно для разнообразия послушать что-нибудь законченное.

– Нет уж, благодарю. – Куикмен отложил вилку. – Плохая поэзия – это еще куда ни шло, но плохая поэзия на испанском? Такого я не вынесу.

– Легко критиковать других, когда твоя лучшая работа позади, – сказала Мак.

Куикмен уместно оскорбился, но на провокацию не поддался. Только извлек трубку из пиджака и, постучав ей о стол, сунул в рот.

– Что она делает? – шепнул мне на ухо Петтифер.

– Не знаю, – шепнула я в ответ, хотя мне все было ясно.

Мак сжигала мосты.

Она хотела, чтобы мы на нее обиделись, тогда расставание не будет таким тяжелым. Если до отъезда она будет общаться с краткосрочниками вроде Линдо и Глака, то забудет их, едва ступив на большую землю, но нас, старожилов, из года в год деливших с ней кров, вычеркнуть из памяти будет нелегко. Она ампутрует нас, одного за другим, начиная с Куикмена, потому что он приехал последним и его, как тонкий хрящик, отрубить легче всего. Следующий на очереди Петтифер, а потом я. Я решила вмешаться, пока до этого не дошло.

– Надо отдать тебе должное, Мак, сцены придумывать ты умеешь.

Она гневно уставилась на меня:

– А?

– Сразу видно, драма у тебя в крови. – Я достала из кармана юбки сложенные листы и помахала ими.

– А, ты об этом... – сказала Мак.

– О чем же еще?

– Давай выйдем на минутку. Здесь слишком шумно.

– Да, так будет лучше для всех.

Мы вышли на лестничную площадку. Гул голосов стих до неясного бормотания. В небе, в рамке большого окна, виден был ноготок луны, над деревьями сгущалась тьма. Маккинни включила лампу и облокотилась о перила.

– Ты прости, что я так завелась, – сказала она. – Кью бывает жутко заносчивым.

– Удивительно, как ты раньше не замечала.

Она вздохнула и, не снимая очков, потерла глаза.

– Ну, выкладывай. Все плохо, да?

Я протянула ей рукопись.

– Во-первых, Уилла, твоя художница, кого-то мне напоминает. Никак не пойму кого...

– Это не случайность, – пожалала плечами Мак.

– Хорошо. Я рада, что мне не почудилось. Люди постоянно видели себя в моих картинах, а мне не хотелось их расстраивать. – Я положила руку ей на плечо. – Но главное, герои вышли очень настоящими. Ты даже не представляешь, как я их понимаю. Ты поэтому хотела, чтобы я прочла эту сцену?

Мак просияла.

– Ты серьезно?

– Больше всего, конечно, мне было жалко Кристофера, хотя дилемму Уиллы я тоже понимаю, ты хорошо продумала ее внутренний конфликт. Обычно именно женщине приходится прощать и идти на компромиссы, и в таких случаях мужчины почти никогда не вызывают у меня сочувствия. Тут же

все наоборот, и это очень свежо. Их разлучила измена особого рода. Во всяком случае, так это вижу я. У Уиллы роман с творчеством. По-моему, замысел отличный. Мне хотелось почитать дальше, чтобы узнать, чем все закончится. А теперь придется ждать премьеры на Вест-Энде.

Мак молчала. Непонятно, обрадовалась или расстроилась. Она крепко сжала листы в руках и зажмурилась, затем посмотрела на меня влажными, в красных прожилках, глазами:

– Боже, я так рада, что ты что-то почувствовала... Спасибо. Именно этого мне и не хватало.

– Подожди, я еще о пунктуации не высказалась.

Она улыбнулась:

– Не надо все портить.

– Теперь мы можем спокойно поужинать?

– Хорошо, но Куикмену придется научиться смирению.

Это уже ни в какие ворота.

– Я с ним поговорю.

– Отлично.

Мы направились обратно в столовую.

– Что это за фамилия такая, Линдо? – спросила я.

– Не знаю. Поинтересуйся у директора.

– С такой фамилией трудно воспринимать человека всерьез.

Но Мак меня уже не слушала. Остановившись у дверей, она перечитывала рукопись.

– Ты правда думаешь, что задумка стоящая?

Я положила руку на сердце:

– Клянусь жизнью своего спонсора.

– Господи, какое облегчение. Прямо камень с души. – Она переступила с ноги на ногу. – Пойду-ка поищу оставшиеся сцены. *Carpe diem*¹⁴ и все такое.

– Ты не поужинаешь с нами?

Она попятилась.

– У меня пропал аппетит. Отдай мой пудинг Тифу.

– Он будет счастлив.

Мак направилась к себе в комнату, однако далеко уйти не успела – на лестнице загрохотали чьи-то шаги. В них было столько неистовой энергии, будто по дому носился дикий зверь. Но тут показалась знакомая фигура – каштановые волосы, покатые плечи. Это был Фуллертон. Он так быстро взбежал по лестнице, что запутался в ногах. Носок ботинка зацепился за последнюю ступеньку, и мальчик полетел вперед. Колени и локти гулко стукнулись о паркет. Тяжело дыша, он быстро встал на четвереньки.

– Ты цел? – спросила Мак из коридора.

Он вздрогнул и обернулся:

– Кто это?

– Это я, Маккинни, – сказала она. – Я тут.

– Эй? Кто там?

Я подошла поближе:

¹⁴ Лови момент (*лат.*).

– Фуллертон, это мы. Нелл и Маккинни. Что с тобой?

Услышав мой голос у себя за спиной, он в панике вско-
чил. Затем устоялся на люстре из цветного стекла, висев-
шую у него над головой, будто боялся, что она может упасть.
Вытерев слюну с подбородка, он посмотрел на свою ладонь.

– У меня кровь идет, – сказал он. – Время заканчивается.
Как мне отсюда выбраться?

– Нет у тебя никакой крови, – заверила его Мак.

– Скажите, как мне выбраться? *Пожалуйста...*

– Успокойся, солнце. Ты несешь какую-то околесицу. –
Мак с тревогой посмотрела на меня: – Он, наверное, головой
ударился.

– Просто укажите нужную лестницу, – продолжал маль-
чик. – Эй, где вы?

– Фуллертон, мы прямо перед тобой, – сказала я. – Не дви-
гайся. Сейчас я тебе помогу.

Медленно, чтобы его не спугнуть, я двинулась ему на-
встречу.

– Вы пропадаете. Ну пожалуйста... Как мне отсюда вы-
браться?

Глядя в потолок, он медленно закружился на месте.

Я протянула руку, надеясь, что мальчик за нее ухватится.
Но, хотя глаза его были широко открыты, он в упор меня не
замечал. Я помахала – ноль внимания.

– Да он спит, – сказала я.

– Или галлюцинирует, – ответила Мак. – Посмотри, какие

у него зрачки. Он под чем-то.

– Эй? Вы еще здесь? – подал голос мальчик. – Скажите, куда мне идти? *Умоляю!*

– Я позову Эндера, – сказала Мак.

– Подожди. – Как можно громче и отчетливее я произнесла: – Фуллертон, возвращайся туда, откуда пришел. Мы тебя заберем.

Но мальчик лишь крикнул в потолок:

– Эй? Куда вы пропали? – И затем вполголоса: – Бля...

Он снова провел по рту ладонью, нет ли там крови, и ринулся в столовую. Я посторонилась.

В столовой по-прежнему гудели голоса. Мальчик кое-как добежал до линии раздачи и стал копаться в грязной посуде, заглядывая под каждую тарелку. Его руки перепачкались в жире. Он явно видел перед собой не еду. Затем он повернулся к столику с напитками, стоявшему у него за спиной, и принялся что-то искать, отодвигая чашки и опрокидывая банки с колдой. Заметив стаканчики с айраном, он сгрэб их в охапку. Краткосрочники за ближайшим столиком обернулись.

– Эй, оставьте нам тоже! – крикнул один.

– У вас шнурок развязался, – сказал другой.

Они ухмыльнулись. Но Фуллертон не обратил на них внимания, а может, и вовсе не услышал. Он пересек столовую и, протиснувшись мимо нас с Маккинни, вышел на лестничную площадку. Все это время он бормотал себе под нос, счи-

тая шаги:

– ...пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть...

Мы вышли за ним следом. В красноватом свете он спустился на один пролет.

– ...семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят.

У большого окна он остановился, выстроил стаканчики айрана в столбик на подоконнике, а с верхнего сорвал фольгу.

– Что он задумал? – спросила Мак.

В руке у мальчика оставался еще один стаканчик, и с ним он спустился на первый этаж. С минуту мы слушали, как он рикошетом передвигается по дому. Затем последний стаканчик айрана размытым пятном полетел в окно. Он врезался в стопку на подоконнике и разбился о стекло. Жидкость хлынула вверх и в стороны, на портьеры, на обои, потекла на подоконник. Брызги разлетелись так далеко, что попало даже мне на ботинки. Снизу донесся восторженный возглас.

Когда мы спустились, мальчика уже и след простыл. Парадная дверь распахнута, в замочной скважине – неаппетитный комок коричневой жвачки. За порогом – вечер, постоянный и пустой.

– Зря директор назначил нас в няньки, – сказала Мак. – За этим парнем нужен надзор посерьезней.

Весь вечер я переживала за Фуллертон и еле удержалась, чтобы не зайти к нему по пути в мастерскую. Но в конце концов рассудила, что лучше оставить его в покое. Я была уверена, что его странное поведение вызвано лунатизмом, но Мак явно считала иначе. Она не стала обвинять мальчика открыто и доносить на него Эндеру. Она лишь указала мне на то, какие у него были зрачки.

– Знаю я этот отстраненный взгляд, – пояснила она, пока мы отмывали айран с подоконника. – Он говорит сам за себя.

Но мне что-то не верилось.

Трудно было найти более трезвое место, чем Портмантл: ничего сильнее аспирина от головной боли здесь не принимали, а то и вовсе обходились без таблеток, и даже турецкое растирание на спирту хранилось под замком в кабинете директора – вместе с аптечкой первой помощи. Все знали, что художников, стимулирующих воображение препаратами, в Портмантл не берут; каждый спонсор должен был поручиться, что его кандидат порядочен и чист, а каждому гостю рассказывали одну и ту же назидательную историю об Уитлоке, легендарном постояльце, которого застукали в сарае за распитием дизельной жидкости для газонокосилки и немедленно выпроводили за ворота – без документов для пересечения границы, без протекции директора и даже без

прощального рукопожатия. (Байка это или нет, а скрытый посыл оставался с вами надолго.) Кроме того, в первый же день мальчика обыскали, он сам мне жаловался, и даже пачка из-под сигарет, которую он бросил Куикмену в библиотеке, оказалась пустой. Нет, странности у него в характере, и наркотики тут ни при чем. К тому же вряд ли у него хватит глупости рисковать своим местом ради скоротечного кайфа.

Так я размышляла, готовя мастерскую к работе. Нужно было многое успеть – плотно задернуть шторы, прибить их к оконной раме, заклеить щели в дверном проеме, – и, поджидая, пока усадьба погрузится во мрак, я никак не могла выбросить мальчика из головы. Переодеваясь, я почувствовала, как карман юбки грузиком оттягивает жетон. Я решила хранить его, пока за ним не придут, – потерять жетон на обратную дорогу у нас считалось сродни проклятью, – а потому спрятала его в ванной, с собственными сокровищами.

За шкафчиком над раковиной было углубление в стене, которое я проковыряла в штукатурке мастихином, – маленькая полость, куда помещались всего две вещи: (i) жестянка из-под табака, где хранились остатки пигмента, и (ii) красная коробочка для кольца. Бережно, точно яйца из гнезда, я вынула их и поставила на бортик раковины. В коробочке с истершейся эмблемой парижского бутика хранился довольно уродливый перстень с опалом, принадлежавший моему спонсору, а под ним, в подкладке, – потускневший жетон с пристани Кабаташ. При взгляде на этот жетон я вспомнила,

как он звякнул в окошке кассы, точно бутылочная крышка, и, покрутившись, упал; вспомнила, с каким восторгом разглядывала его у себя на ладони. Каким скучным и обыденным казался он теперь. Каким бесполезным. Положив оба жетона в коробочку, я захлопнула крышку.

Когда я повесила шкафчик на место, в особняке уже погасли огни и можно было приступить к изготовлению новых образцов. Оставалось только запереть входную дверь и проклеить дверной проем. С потеплением воздух стал мягче, и пальцы лучше меня слушались. Я выключила свет, и в темноте замерцали образцы – синяя мешанина, разбухающая на стене, то приглушенная, то пылающая. У меня захватило дух.

Разложив все необходимое на столе, я пошла к чулану. По моим прикидкам, из трех гирлянд, сушившихся возле бойлера, по меньшей мере одна была готова к измельчению. Из-под двери струилась голубоватая дымка, наползала мне на ноги.

Как же она сияла. Сначала я с надеждой подумала, что последняя гирлянда вышла ярче остальных – возможно, я наконец научилась правильно срезать грибы, а может, в теплую погоду они лучше сохнут. Но, открыв раздвижную дверцу, я обнаружила, что грибы размазаны по грязному бетонному полу. Из-под вешалки с куртками торчала пара ступней в голубоватой пылице. А между бойлером и рюкзаком – он сам. Фуллертон. Точно метла, подпирает стенку чулана, го-

лый и без сознания.

Я инстинктивно отвернулась и задвинула дверцу – глупый защитный рефлекс. В висках застучала кровь, и от волнения я не сразу смогла собраться с мыслями. Гирлянды уничтожены, несколько дней работы коту под хвост – меня должно было трясти от ярости, но я не чувствовала ничего, кроме беспокойства за мальчика. Я поспешила за одеялом, чтобы его укрыть.

Раздвинув одежду на вешалках, я обнажила его бледное юное тело. Мальчик не шелохнулся. Никогда еще я не видела его таким умиротворенным: веки смежены, рот приоткрыт. На широкой груди голубоватые мазки, мерцающий боевой раскрас, покрывающий также бедра, голени и предплечья. Я как могла оберегала его целомудрие, но он лежал в такой неуклюжей позе, что все было выставлено напоказ. Он был не таким куцым, как натурщики, которых я рисовала в художественной школе, и, в отличие от мужчин, с которыми я спала, не обрезан.

Я завернула мальчика в одеяло, а концы, как у тоги, закрепила на плече. Пока я все это проделывала, он несколько раз стукнулся головой о стенку, но даже это его не пробудило. Я включила свет и громко окликнула его – все без толку. Оставалось только одно – плеснуть ему в лицо водой.

Я думала, мальчик мигом очнется, но он долго морщился, моргал и отплевывался, постепенно приходя в себя. Заметив меня с графином в руке, он натянул одеяло повыше и про-

бормотал:

– Мля... Опять? – В его взгляде читалась усталость, щемящее осознание. Хотя у него все лицо было мокрое, мне показалось, что на его глазах выступили слезы. – Давно?

– Что “давно”?

– Давно я тут?

Он будто привык просыпаться в странных местах, в чужих домах.

– Судя по всему, с ужина. У тебя выдался занятный вечерок. (Мальчик уныло кивнул.) Выходи. Я налью тебе чаю.

– Простите, ради бога. – Он проверил, все ли прикрывает одеяло. Оно почти доходило до колен. – Не знаю, как я сюда попал, но, если я что-то сломал, клянусь, я все почию!

– Я сама виновата. Дверь не заперла.

– Нет, серьезно, Нелл. Мне жутко стыдно, что вам пришлось со мной возиться. – Его голос был кротким и хриплым. – А у вас полотенца не найдется?

– Там на полке целая стопка, у тебя над головой.

Он потянулся за полотенцем. Я занялась растопкой печки и чаем.

– Не знаю, помнишь ты или нет, – крикнула я, стоя у раковины, – но ты изрядно покуролесил. Эндеру придется менять портьеры в вестибюле. Не так-то просто оттереть с бархата айран.

Мальчик вышел из чулана, волосы слипшиеся и взъерошенные.

– Хаос следует за мной по пятам. – Он остановился в резком свете лампы и понюхал ладони. – Кстати, у вас в чулане грибы растут. Кажется, я почти все передал.

– Правда? (Дрова в печи задымились.) Наверное, это из-за сырости. Я скажу Ардаку, чтобы посмотрел.

– Вообще-то пахнет не так уж плохо. Я перемазывался кое в чем и похуже. – Он оглянулся на месиво на полу чулана. – Но мне правда стыдно, что я развел такой бардак. И за... Ну вы поняли. – Он откашлялся. – Спасибо за одеяло.

– А одежда твоя тоже где-то тут?

– Вероятно.

– Ладно, если найду, отдам.

Мальчик ничего не ответил. Подошел к печке. Руки, в гусяной коже, скрещены на груди.

– Мы с Мак встретили тебя на лестнице у столовой. Поначалу ты нас вроде бы слышал, а потом взял и убежал. Ты все просил помочь тебе выбраться.

– Извините.

– Да ничего страшного, но... Выбраться откуда?

Мальчик медленно опустился на колени.

– Иногда я застреваю у себя в голове. – Его нижняя губа отвисла, словно под тяжестью этих слов. Он поднес ладони к печке и уставился на меня снизу вверх. – Не знаю, как вам объяснить. Вы когда-нибудь бывали в огромных американских отелях? Вроде “Нью-Йорк Хилтон”. Тысячи закрытых дверей, и все одинаковые, лестницы и лабиринты коридоров.

доров, лифты, которые ездят вверх и вниз, вверх и... Уф! Даже представить страшно. Папа брал меня с собой в такие вот места. Как их вообще строят? – Он сделал круглые глаза. – Теперь представьте такой отель, только пустой. Все лифты сломаны, чинить их некому, и непонятно, какая лестница куда ведет. Вот что обычно творится у меня в голове.

– Мак думает, что ты под наркотиками, – сказала я. – И, если честно, я ее не виню.

Он усмехнулся, но ничего не ответил.

– Пожалуйста, скажи, что это не так.

– Ну не знаю. – Пальцами он разделил волосы на пробор. – Похоже было, что мне весело?

– Нет.

– Вот видите. Кто станет принимать наркотики, от которых одни страдания? – Он уселся по-турецки и стал растирать стопы. – Я с детства хожу во сне, честно. Когда мне было восемь или девять, я частенько просыпался в соседском подвале. Мог доехать на велике аж до Хэмпстеда. А один раз забрался в мусорный контейнер, меня там чуть не придавило старыми плитусами. А сколько шкафов и чуланов я переревидал...

– И ты всегда голый?

– Только с недавних пор, – усмехнулся он. – Спасибо, что больше не мочусь. – Окинув комнату взглядом, он заметил плитку с курантом и заготовленные квадратики холста. – Вы собирались работать, да? Извините. Я тогда пойду.

– Хватит извиняться.

Он попытался встать.

– Сиди. Будем пить чай. Поработаю потом.

Какой смысл говорить, что грибы, которые он растоптал в чулане, и были моей работой или что его выходка стоила мне нескольких дней кропотливого труда?

– Спасибо, Нелл. Что не стали... – Он замялся. – Ну вы поняли. Обычно люди сердятся. Смотрят косо. Думают, что ты это контролируешь, начинают возмущаться. Наверное, они это не со зла, но так происходит каждый раз... Один врач посоветовал мне привязывать себя на ночь к решетке кровати. Я спросил, стал бы он привязывать собственных детей. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Ну неважно. Я все равно попробовал – посмотреть, что из этого выйдет. А вышло все в десять раз хуже. Конечно, никуда я не ушел, но кошмары стали еще мучительнее, и вдобавок я чуть ноги себе не переломал. Это только доказывает, что врачи сами нифига не знают.

Чайник со щелчком выключился.

– И что же ты там делаешь, у себя в голове?

– Я всегда пытаюсь выбраться наружу, проснуться. Но это невозможно. Иногда я оказываюсь в помещении, где никогда раньше не был. Иногда иду на голос или музыку вдалеке. Или нахожу телевизор со старыми фильмами без звука. А иногда мое воображение рисует целую библиотеку, и я сижу там, листая книги в поисках инструкций или плана побега. Знаете,

такое ощущение, будто каждый раз, когда я засыпаю, меня отправляют на первую клетку игрового поля. И спустя пару ходов я понимаю, что уже играл в эту игру. Уже видел эти лестницы, этих змеек¹⁵. Но до финиша никогда не доберусь.

Я сказала, что, по-моему, это сущий ад.

– Да, но есть и плюсы. – Он задумался, подбирая слова. – Вам покажется странным, что я так часто вспоминаю деда, но по какой-то причине с самого приезда он не идет у меня из головы. По выходным, когда родители уезжали, я оставался у него. Он был хромой и далеко ходить не мог, да и вообще почти не выбирался из квартиры. Поэтому мы все время сидели дома и слушали пластинки. Всегда одни и те же. Старые рэгтайм-бэнды, юмористические передачи, глупые песни в духе “Смеющегося полицейского”. У него были незатейливые вкусы. Так мы и сидели, снова и снова слушая пластинки. Я готов был на стену лезть от скуки, но ничем другим заниматься не мог. Современное радио он не выносил, сада у него не было, а гулять меня одного не пускали. Ему нравилось изо дня в день слушать одно и то же, это его успокаивало. А мне приходилось сидеть с ним и делать вид, что мне тоже нравится. Как же я ждал, когда придет мама и заберет меня домой. Но через пару дней мне так надоело торчать одному в школе, что я уже сам хотел к деду. И вот эти часы, что я провел у него дома, слушая одни и те же пластинки, я не променял бы ни на что на свете. Они сделали

¹⁵ “Змеи и лестницы” – настольная игра с кубиком и фишками.

меня таким, какой я есть. То же самое можно сказать и про кошмары.

– Трудно, наверное, ложиться спать, зная, что может случиться.

Он пожал плечами:

– Просыпаться куда труднее.

Старая заварка годилась еще на одно использование. Я подлила кипятка и покрутила чайник в руках. Мальчик наблюдал за мной, прищулив глаза.

– Чай будет слабый, но я так люблю. Могу дать ему настояться, если хочешь.

– Да нет, не надо.

Я сполоснула две кружки и разлила чай. Он вышел почти бесцветным. Мальчик заглянул в кружку, сделал глоток и скривился:

– У-уф... А вы не соврали.

– Это у меня от матери. Дома мы всегда по многу раз заваривали чайные листья. Менталитет военного времени – а может, просто шотландский. С тех пор чай я могу пить только такой.

– У вас почти нет акцента.

– С годами все становится мягче. Уж поверь. (Он почти рассмеялся.) Вряд ли я теперь сойду за свою в Клайдбанке. Он у меня в крови, но я больше не чувствую с ним родства. А еще меня никогда не тянуло его писать – не то что Лондон. Вот Лондон меня завораживает.

– Знаю, – ответил мальчик. – Я видел ваши работы.

Эта прямолинейность застала меня врасплох, и я замахала рукой, будто пытаюсь стереть само упоминание о прошлом.

– Эй, мы же так хорошо беседовали.

Мальчик уставился в пол.

– Я сказал это только потому... – Он осекся, сглотнул. И с новым приливом смелости выпалил: – Я не виноват, что знаю, кто вы. Ваши картины висят в Тейте...

– Давай не будем об этом.

– Одну я даже копировал. Мы были там на экскурсии, и учительница велела купить открытку.

– Ну хватит. Ты только хуже делаешь. Пожалуйста, сменим тему.

Я хмуро уткнулась в кружку. Не знаю, чего я боялась сильнее – признания за то, кто я есть, или жалости из-за того, кем так и не стала.

– Слишком крепко вышло. Горчит же, правда? Не надо было так крутить чайник. – Я выплеснула свой чай в раковину. Застыла к мальчику спиной. – Знаешь, мне, наверное, пора за работу. Если тебе уже лучше, не мог бы ты пойти к себе?

Я услышала, как он поставил кружку и поднялся.

– Я вовсе не хотел вас обидеть. Простите. – Когда я обернулась, он уже был у двери. – Мне ужасно неловко, вы ведь были ко мне так добры...

Он спустил одеяло с плеча и заткнул за пояс.

– Ничего страшного.

– Не обижайтесь. Я не лажу с людьми, я же вам говорил.

– Мне просто нужно поработать.

– Ладно, понял. – Дверь была залеплена клейкой лентой и не поддавалась, когда мальчик попытался ее открыть. Он прищурился и обвел ее взглядом. – Откуда у вас столько клейкой ленты? Из подсобки? А она прочная. Мне бы такая пригодилась.

Материалов у меня было в избытке, и я разрешила ему взять рулон, лежавший на столе. Чтобы сделать ему приятное и избавиться от чувства вины.

– Вы просто спасительница, – сказал он, вращая рулон на пальце. – Подойдет идеально. – Он двинулся к двери. – Как мне?..

– Просто дерни.

Он повернул ручку и с силой дернул дверь на себя – лента оторвалась от рамы, и свет из комнаты разлился по тропинке. Мальчик застыл на пороге, вполоборота к ночи, и мазки у него на груди слабо замерцали.

– Одежды не видать. Плохой знак.

Он поплелся в темноту, движения скованы одеялом. Пусть он обернется и скажет, что обознался, подумала я, что принял меня за кого-то другого. Но я была так же бессильна повлиять на мальчика и его поступки, как избавить его от кошмаров.

Ничто не защищало остров от стихии, и дожди здесь не шли, а совершали налеты. Они дробью проносились по лужайкам усадьбы, перепахивали клумбы, сминали макушки сосен. Нигде больше не встречала я такой мощи, такого размаха, свирепости, постоянства. Директорская собака и носа не высовывала во двор. Лежала на веранде, морда на лапе, и смотрела, как все вокруг погружается в хаос; в ясный день она могла бы гулять по саду, копать и кататься по траве, а сейчас торчала под крышей вместе со мной.

– И чего ты скулишь, – сказала я. – Мы обе его ждем.

Директор ненадолго ушел к себе в кабинет, кому-то позвонить. Его чашечка *Türk kahvesi* еще дымилась на плетеном столике, обогреватель только раскопчегаривался. Директора не было от силы пару минут, но меня не покидало смутное ощущение, что утро утекает вместе с потоками воды и мой собеседник уже не вернется. В середине нашего разговора в дверях появился Эндер и забормотал по-турецки; директор поднес карманные часы к здоровому глазу и попросил его извинить. “Никуда не уходите, – прибавил он. – Я буквально на минутку”.

Я знала, что приехал он ночью – меня разбудило тьявканье его собаки. Для такого маленького существа у нее был необычайно громкий лай, визгливый и внезапно обрываю-

щийся, будто кто-то театрально икнул. Едва рассвело, я поспешила к особняку, чтобы застать директора за утренним кофе. Какая бы ни стояла погода, кофе он пил на свежем воздухе, в оазисе тишины, пока постояльцы не потянулись к завтраку и усадьба не ожила. Поймать директора на веранде – лучший способ заручиться его вниманием без обычной канители с записью на прием.

Из-за дождя я чуть было не осталась дома, но затем накинула капюшон и храбро зашагала навстречу стихии. Не успела я сделать и десятка шагов, как в ботинках зачавкало. В вестибюле я обнаружила вощеную куртку на вешалке и зеленый зонт в подставке, совершенно сухой, – верные признаки того, что директор дома. Вскоре по лестнице засемила старая псина, а вслед за ней показалась весьма неспешная пара ног. Я где угодно узнаю эти расшитые тапочки, эту тонкую бамбуковую тросточку, клацающую по балясинам.

– Кто это у нас проснулся с петухами? Неужели Нелл? – сказал он, заметив меня.

– Да, сэр. Как поездка?

– Боюсь, не очень удачно.

Он был таким высоким, что, проходя под лампой, задел головой абажур; в искусственном свете его лоб блеснул, как начищенный. Голову венчала корона седых волос, съехавшая немного набекрень, по краям рта, точно резьба по дереву, шли глубокие борозды. Мы полагали, что ему не меньше шестидесяти, хотя руки у него были гладкие, как у трид-

цатилетнего. Он был слеп на левый глаз и компенсировал это при помощи трости и Назар – дворняжки, из которой он вырастил апатичного поводыря. Интеллигентность директора граничила с напыщенностью, но он так почтительно относился к постояльцам и их талантам, что заносчивым его назвать было нельзя. Для проформы, а еще потому, что его настоящей фамилии никто не знал, мы обращались к нему “директор” или “сэр”, и каждый раз при этом его лицо едва заметно подергивалось.

– Пойдемте на веранду, – предложил он. – Сейчас придет Гюльджан с кофе. Быть может, она нагадает мне на кофейной гуще долгую и счастливую жизнь.

– На улице ливень.

– Я знаю. Дивно, не правда ли?

Мы расположились в восточной части веранды, он – среди подушек на скрипучих плетеных качелях, длиннющие ноги неуклюже скрещены, я – на низком плетеном стуле. Собака покружила между нами и улеглась у его ног.

– Ну-с, что у вас на уме?

– А кто сказал, что у меня что-то на уме?

Он стряхнул с брюк белые волоски собачьей шерсти.

– Если вы пришли ко мне ни свет ни заря – значит, с претензией. Я на этом собаку съел. Хорошее выражение, вы не находите? *Собаку съел.*

– Да, сэр. – Я собралась с духом, не желая тратить время. – Вообще-то я к вам сразу по нескольким вопросам.

– Ты это слышала, Назар? – Он потрепал собаку по голове. – Говорил же я, надо было мне остаться в постели. Вот и жалобы начались. – Он с улыбкой откинулся на спинку сиденья. – Ну выкладывайте. Только по порядку.

– Тогда начну с Фуллертона.

– Да, про это я уже слышан. – Он сомкнул кончики пальцев и прижал их к губам.

Тут за спиной у меня возникла Гюльджан и полностью завладела его вниманием. Директор спрашивал у нее что-то по-турецки, Гюльджан со смехом отвечала, подавая ему кофе в изящной белой чашечке на блюде, а когда они наконец закончили, директор уже не помнил, о чем беседовал со мной.

– Не знаю, что еще вы хотите от меня услышать, – сказал он.

– Во-первых, мальчика нельзя оставлять без присмотра, а вы этого совершенно не учли. Вчера вечером я нашла его у себя в чулане. Голым.

– Это было *после* происшествия за ужином?

– Да, сэр.

– Понятно. – Покачиваясь на качелях, он задумался. – Спешу заверить вас, я сегодня же нанесу ему визит. Я и так собирался представиться ему. Если в мое отсутствие он доставил вам неудобства, я могу лишь просить вашего прощения и выразить свою благодарность. Надеюсь, он не слишком вам помешал.

Директор славился своей нестигаемой дипломатией, и ничего другого я от него не ожидала.

– Дело не в том, что он мне помешал. Да это и не так. Просто я за него переживаю. А помочь не могу. Он страдает, и, по-моему, Портмантл для него не лучшее место.

– Это ему решать.

– Вчера мы немного поболтали. О его кошмарах. Вы о них знали?

– Право, Нелл, вы вовсе не обязаны быть мальчику наставницей. Я обязательно прослежу, чтобы о нем позаботились.

– Но вы знали о кошмарах?

– Разумеется.

– Надо было предупредить нас. Мы бы что-нибудь сделали.

– Тут ничего нельзя сделать. Буду с вами откровенен: я не знал, в какой степени на него влияют эти сны, но теперь я обо всем осведомлен. Сегодня утром у меня был разговор с его спонсором, весьма серьезный, и, уверяю вас, отныне все под контролем. Должен признаться, я удивлен, что вы взялись обсуждать со мной личные дела постояльцев. Мальчик, несомненно, очень юн, но он вправе рассчитывать на такое же отношение, как и все, кто живет под этой крышей. Вам понравится, если я начну обсуждать ваши проблемы с Глаком? Или с Крозье?

– Кто такой Крозье?

– Наш гость из Италии.

– Ах, этот. Нет, конечно. – Никогда еще беспристрастность директора так меня не раздражала. – И все же, сэр, поведение мальчика меня тревожит.

Он сверкнул глазами.

– Тревожились бы лучше о Маккинни.

– Я до нее еще дойду.

– Вот как. – Он почесал собаку за ухом и потрепал по голове: – Не будем вставать, говорил я. Поваляемся в постели, говорил я. Но ты не послушалась, да, разбойница? Смотри, к чему это привело. – Когда он поднял голову, улыбка исчезла с его лица. – Не волнуйтесь, Нелл. Мальчик в полном порядке. Сны – часть его творческого процесса. Это все, что вам нужно знать. Я потакаю вашему любопытству лишь потому, что вы заботитесь о его интересах, но теперь вы должны позволить мне уладить все самому.

Дождь молотил по крыше у нас над головами, бился о стены особняка.

– Боже правый. Ай да ливень. – Директор с довольным видом огляделся по сторонам. – На большой земле он звучит совсем иначе. У наших дождей своя, особая музыка. Когда остров встречает тебя ею, сердце бьется быстрее.

Так мы сидели, прислушиваясь к звукам, к наслоению мелких шумов, пока Эндер не доложил о телефонном звонке. Собственно, кроме слова *telefon* я больше ничего и не поняла. Директор вздохнул, поставил чашку на столик и встал. Перед уходом он велел Назар меня охранять.

– Только осторожнее, – прибавил он. – Она кусается.

Но вот уже позвонили к завтраку, и даже собака не могла больше сидеть на месте – вскидывала голову всякий раз, когда раздавались шаги.

А директор все не появлялся.

Подобно аудитору, что призраком бродит по конторским коридорам, директор держался поодаль, но всегда незримо присутствовал среди нас. Мы почти ничего о нем не знали, полагаясь на сведения, выведенные у спонсоров. Говорили, он был сыном турецкого посланника, хотя Куикмен утверждал, что послом во Франции, а Маккинни – что политическим атташе. Говорили, он вел финансовую отчетность компаний по всей Европе (в этом наши спонсоры были единодушны), а должность директора получил, когда после длительной болезни скончалась его жена (относительно диагноза мнения разделялись: одни называли серповидноклеточную анемию, другие – лейкемию). Говорили, он учился в Швейцарии, Англии и Америке, – по прибытии мы сами убедимся, что он владеет множеством языков (и мы убедились). Говорили, он баловался эссе: какие-то его статьи по английской и турецкой литературе были изданы в журналах (что звучало вполне логично, учитывая его тягу к поэзии). Говорили, он пишет учебники по бухучету и получает немалые роялти от продаж (никаких учебников мы не видели, но почему бы им не существовать, к тому же он и впрямь очень радовался, когда Эндер приносил почту).

По словам спонсоров, директора назначал попечительский совет, куда входили пять бывших постояльцев и один бывший директор. Критерии отбора были жесткими, ведь требовалось найти определенный типаж: бездетный холостяк, способный жить в уединенном месте, увлекающийся искусством, трепетно относящийся к художникам, но сам не обладающий талантом. Работа требовала решимости, чувства справедливости и стоицизма. Директор должен был поддерживать связь с попечителями, организовывать приезд и отъезд гостей, планировать расходы, вести бухгалтерию, руководить небольшим штатом прислуги и следить за работой прибежища в целом. Взамен он мог рассчитывать на комнаты с лучшим видом на остров, трехразовое питание, компанию так называемых блестящих умов и бессрочное освобождение от забот большой земли. Мы не знали, сколько в истории Портмантла было директоров, но Петтифер сказал, что особняк был построен в конце девятнадцатого века, а значит, вероятнее всего, не более десяти.

А директор все не появлялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.